

Клара Фехер

ЖЕЛТАЯ ЛИХОРАДКА





МОСКВА «РАДУГА» 1990



КЛАРА ФЕХЕР

ЖЕЛТАЯ ЛИХОРАДКА

Желтая лихорадка. Прощание с морем

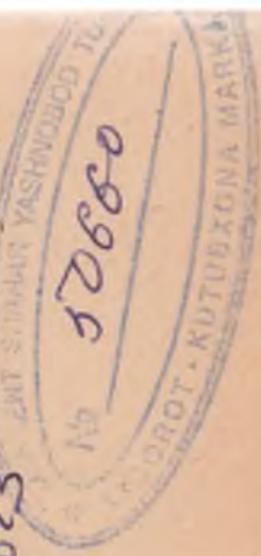
Повести

Авторизованный перевод с венгерского

Геннадия Лейбутина

№ 23

№ 52660



ББК 84.4Вн
Ф46

Редактор *Т. Горбачева*

Фехер К.

Ф46 Желтая лихорадка: Повести. Пер. с венг. —
М.: Радуга, 1990. — 288 с.

Имя Клары Фехер хорошо известно советским читателям и театральным зрителям: ее комедия «Мы тоже не ангелы», поставленная Театром на Таганке, с успехом прошла более чем в ста театрах. Не меньший интерес вызвала и повесть «Желтая лихорадка» — трагикомическая история о том, как ради трех своих дочерей родители уехали работать в Африку, не подозревая, что ждет их по возвращении.

Вторая повесть, вошедшая в книгу, — «Прощание с морем» — написана в своеобразной манере, не случайно она названа киноповестью. Главная тема здесь — любовь, как ее понимают люди старшего поколения и молодежь.

Ф $\frac{4703010100-050}{030(01)-90}$ 7-90

ББК 84.4Вн
И(Вн)

ЖЕЛТАЯ ЛИХОРАДКА

ПОВЕСТЬ



Sárgaldz

© Fehér Klára, 1981

© Перевод на русский язык журнал «Иностранная литература», 1983

Повесть есть повесть. Вымышленные персонажи, выдуманная история. Все совпадения случайны, даже если кто-либо и узнает в повести себя.

— Passengers of the MALEV are most urgently requested...¹

— Геза,— окликнула меня Илонка, вскинув голову,— ведь это нам, приглашают на посадку.

— Куда они могут нас сейчас приглашать? Еще только четверть седьмого, а наш вылет в девять...

— Ну что, господа, сдаем или будем разговоры разговаривать?

— Passengers of the MALEV... gate number three...²

Я вновь собираю со стола карты, хотя мне уже ясно, что объявление по радио в самом деле адресовано нам.

Карта не идет, ну и бог с ней, меня это никогда не волновало, я вообще-то раз в десять лет сажусь играть в бридж и сейчас согласился, только чтобы как-нибудь убить время. Четыре года пролетели, господи, как быстро они пролетели, и вдруг оказывается, что я не могу вы-

¹ Пассажиры авиакомпании МАЛЕВ просят срочно... (англ.)

² Пассажиры МАЛЕВа... выход номер три... (англ.)

терпеть эти несколько часов, отделяющих меня от Будапешта. Осталось всего каких-то шестьсот километров до дома, до окончания командировки, до разрешения проблем, до исполнения желаний и еще черт знает чего, но я больше не могу, кончилось наше терпение, а точнее, мое, потому что Илонка нашла чем занять себя на эти несколько часов: переложила вещи из маленькой сумки в большую, проверила, целы ли ее принадлежности для шитья — иголки, нитки, ножницы, наперсток — и всякие там вязальные крючки, на месте ли в моем дорожном туалетном наборе флаконы с жидкостями *preshave* и *aftershave*¹, щетка для ногтей и не знаю что там еще. Меня так и подмывает одернуть ее, сказать, чтобы перестала копаться в сумках, что меня раздражает эта ее мания постоянно наводить порядок и блюсти чистоту; вот приедем домой, и будешь там намываться и расчесываться, осталось каких-то полтора часа лету до Будапешта. Но я не сказал ей ничего, во-первых, потому, что я вообще никогда не делаю ей замечаний, во-вторых, она хоть чем-то занята. Я и сам уже четыре раза от начала до конца прочитал газету, разгадал кроссворд, три раза ходил в бар пить омерзительный кофе, пять раз прошелся вдоль витрин с сувенирами, хотя ничего и не собирался покупать: ни шоколад, ни

¹ До и после бритья (англ.).

складной нож, ни куклу в вышитом национальном костюме. Если бы наши девочки были поменьше, насколько проще было бы все: три куклы, три пестрые блузки, три коробки шоколадных конфет. И еще были бы рады. И мне бы в голову не пришло садиться за карты, когда возникли эти двое внешторговцев: один — тощий очкарик, другой — краснощекий толстячок.

— Венгры? Угадал? Ожидаете вечерний малевский рейс?

— Да, — ответил я.

Илонка недовольно замотала головой, отказываясь от приглашения поиграть в карты. Просто невероятно, и после тридцати лет нашего супружества на любое предложение она первым делом отвечает «нет», «зачем?». Ох уж эта мне ее замкнутость, стремление жить, втянув голову в плечи... ну вот и втянули, вот и сидим. В общем, я набрал воздуха в легкие и брякнул: да, конечно, колоссальная идея, отчего же не сыграть... трефы раз, трефы два... отдадим и накажем? И разумеется, четыре без козырей и пять? Нет, нет, записывать будем не по круговой системе, я о ней слышал, но не знаю ее, и давайте подсчитывать не очки, а взятки, как учит старик Кальбертсон ¹...

¹ Э. Кальбертсон — автор книги по теории игры в бридж. — *Здесь и далее примечания переводчика.*

— Я не играю, — как всегда недовольно и в то же время нерешительно проворчала Илонка. Но эти внешторговцы пристали — не отвяжешься.

— Что делать, если для бриджа нужны четверо, сударыня? Ну, начали? Сдавайте, сдавайте поскорее! — торопил очкарик, и вот мы добиваем уже четвертый роббер. Познакомились буквально «по ходу дела». Очкарик, кажется, буркнул: «Перьеш». Толстый — не то «Мазаи» не то «Матаи». Какая разница. Илонка, правда, показав на меня, отрекомендовала по всем правилам:

— Мой муж, доктор Геза Хорват, экономист. — И добавила: — Ладно, тогда уж мы с ним будем в паре.

Карта мне все время не шла: я всего только раз решился «торговаться» и то остался «без двух». А сейчас беру свои карты со стола и не верю глазам: одна, две, две с половиной... шесть с половиной... семь без козырей.

— Passengers of the MALEV...

Нет, это в самом деле нам объявляют посадку. Да вы послушайте, что объявляют, черт возьми! Я швыряю свои карты на стол. Илонка, бери сумку. А где же мой чемодан? Мазаи — или Матаи, — возмущаясь, вскакивает:

— Что за безобразие, только собрался объявить «две на пиках». Может, прежде подобьем бабки, а?

Я удивленно уставился на него: какие у него могут быть пики, если у меня на руках пиковый туз и король?! И что там вообще «подбивать», мы что, разве на деньги играли? Во мне закипела злость. Такое только со мной бывает — у человека первый раз в жизни на руках шесть верных взяток, и вот тебе, пожалуйста... Я лезу в бумажник и швыряю очкарику свою последнюю десятидолларовую бумажку. Все? В расчете? Динамик до тех пор успел уже тысячу раз повторить: «Пассажиров МАЛЕВа просим... выход номер три...»

Через выход номер три уже толпой валит народ. На столиках в буфете недопитый кофе, недоеденные бутерброды. Мазаи (Матаи?) запихивает в карман карточную колоду, под столом остается лежать семерка червей. Громкоговоритель непрестанно торопит, теперь уже нет никакого сомнения, это действительно наш рейс: у нас отбирают посадочные талоны, двери распахиваются, мы уже на аэродроме. Но где же самолет?

— Вон там, там! — слышатся чьи-то крики.

— Геза, осторожно! — Разумеется, Илонкин голос, здесь, рядом. Уже семьдесят часов кряду мы плывем, едем, летим. Сначала на моторном катере — о, где он теперь, этот катер? — по безымянной реке, кишасшей крокодилами; потом на вездеходе, который, того и гляди, перевернется; по осклизлой глиняной

дамбе, насыпанной поперек реки; по выжженным джунглям — к сооруженному наспех аэродрому, и затем — долгий, нескончаемый полет над морем и океаном. И все это время этот ее вечно обеспокоенный голос, похожий на заклинание туземных колдунов: осторожно — не смей есть этого, осторожно — не ушибись, гляди, куда идешь. А я и в самом деле не знаю, куда иду. В какие-то считанные мгновения ноябрьский туман затянул весь аэродром. Еще полчаса назад были видны городские небоскребы, далекие огни неоновых светильников, а сейчас кругом только клубящаяся кипень тумана, белого и густого, как сметана, липкого на ощупь. Больно ударившись о трап, соображаю, что добрались до самолета.

— Schnell, schnell, шевелитесь, шевелитесь, а то застрянем здесь...

Спотыкаясь, поднимаемся в крошечной тьме по скользкому трапу. Холодный туман, снежные хлопья, полетевшие вдруг сверху, липкий леденящий воздух, врывающийся мне в рот и нос. Я задыхаюсь, грудь сжимает, по всему лицу и шее катятся капли пота. Сегодня утром, когда мы вылетали, была жара в пятьдесят градусов, и вот... Можно считать, воспаление легких обеспечено. Его мне только и не хватало.

В салоне самолета тусклый свет. Стюардессы показывают: проходите дальше, в самый хвост машины. Спинки сидений в носу самолета

та — первые шесть или восемь рядов — наклонены вперед и накрыты полотнищем. Но этот Мазаи хочет непременно сесть впереди.

— Проходите в глубину салона, — говорит ему стюардесса. — А сюда нельзя.

— Нельзя?! Почему?

— Для balance...

Стюардесса-венгерка сказала вместо «равновесие» — «balance». Так звучит более весомо, даже грозно. Я смотрю на Илонку, она уже обрела душевное равновесие и, аккуратно сложив пальто, поправила пряжку пристяжного ремня, села, взяла меня за руку. И мне вдруг стало ужасно стыдно. Ну разве она не была права? Зачем я, олух, сел играть с этими двумя картежниками? Не лучше было бы спокойно посидеть рядом с Илонкой в транзитном зале? Вполне мог бы потерпеть эти несколько часов, как она вытерпела целых четыре года. Кто знает, может, это последний наш вечер?! Глупости! Если бы всерьез существовала какая-то опасность, они бы не рискнули взлетать в таком тумане.

«No smoking, fasten your belts»¹. Боже, сколько раз видел я эти слова на светящемся табло! Сколько привязных ремней в самолетах я застегивал у себя на поясе, сколько раз взывали моторы и я видел внизу, под собою, и чер-

¹ Не курить, пристегните ремни (англ.).

ные тучи, и белые барашковые облака, и сплошную облачность, и моря, леса, солнце, синее небо. Но сейчас я вообще ничего не вижу. Под каким углом они собираются набирать высоту после взлета, если сажают пассажиров для balance в самый хвост корабля?

А что, если мы все равно врежемся в какую-нибудь колокольню? Или в небоскреб? И что, разве такая уж сильная буря надвигается, если нас решили отправить на два часа раньше?

— Илонка, — начинаю я, чтобы затем придумать и сказать ей что-нибудь ласковое, очень забавное, но вдруг ощущаю, как у меня начинает сосать под ложечкой.

Слова на табло погасли.

Умолкли моторы.

Из кабины экипажа вышел командир корабля.

— Весьма сожалею, но из-за плохих погодных условий нам не дали разрешения на взлет. Пятнадцатью минутами раньше — может быть, еще... А сейчас — уже нет.

Теперь этот Мазаи, нет, другой, что в очках, начинает качать права. Он преграждает пилоту путь к выходу и орет:

— Как это не дали разрешения? Видимость сто пятьдесят метров. Да тут и вслепую можно взлететь. Полагаясь на опыт. Просто в диспетчерской кто-то наделал в штаны. Я подам в суд на МАЛЕВ, вот увидите. На всю эту шайку-

лейку подам в суд. От самой Бразилии летели нормально. Казалось бы, все, прилетели в Европу, завтра успею на совещание в министерство. Так нет же, господин первый пилот, видите ли, не желает вылетать. Да это можно было заранее предвидеть. Весь этот балаган...

Мне не хочется слушать пространные речи очкарика, я предпочел бы выпить глоток коньяку, наверняка у меня упало давление, но коньяк в красном бауле, а его мы сдали в багаж. Илонка предлагала мне коньяк положить в дорожную сумку, чтобы он всегда был под рукой, но я отмахнулся: да оставь ты в покое и коньяк, и мое давление и вообще перестань квохтать надо мной, вечно ты... В двадцать три ноль-ноль будем уже в Будапеште, в полночь — дома, приму ванну, лягу спать в свою собственную постель, и мое давление придет в норму. Где это я сказал? Когда? Сегодня утром. Утром??? Или вчера? Или, может, сто лет назад? Я сказал: выбегу посмотрю, не пришел ли катер. А ты: куда положить коньяк? Может, в дорожную сумку? Я же сказал тебе: в красный баул. Сколько раз повторять, что в красный? И выбежал из дома. Странно, почему-то приходит в голову, что справа в ста метрах река, которую я никогда больше не увижу. Не будет ее, как никогда не будет солнца, внезапно появляющегося на небе, как не будет и ночи, обрывающейся резко, будто ее отсекли мечом, и в

тропическом лесу сразу умолкает вой и клекот хищных птиц...

Я так устал, что могу в любой миг грохнуться без чувств. Состояние полусна-полуяви, dreamy state. Кажется, что погружаюсь в воду и вновь вынырываю на поверхность. И словно во сне я шагаю вверх и вниз по каким-то лестницам, коридорам, залам, окруженный со всех сторон своими спутниками по полету, а вокруг нас, будто сторожевая овчарка, носится взлохмаченный потный молодой человек в синем пальто.

— Это представитель МАЛЕВА, — говорит внешторговец, тот, что противнее. Взлохмаченный молодой человек кричит:

— Каждый получит и комнату в гостинице, и ужин, вещи можете оставить здесь, в транзитном зале, можно позвонить домой, только прошу — не говорите все сразу, boarding cards¹ все сдают мне, и, пожалуйста, приготовьте паспорта, сейчас мы поднимемся на третий этаж, нет, к сожалению, эскалатор в эту пору уже отключен, извините...

Уголком глаза я кошусь на жену. Илонка стойко, не говоря ни слова, поднимается вверх по лестнице, спускается вниз. У меня начинает покалывать в груди... господи, только бы не... И надо как-то незаметно положить под язык таблетку нитроглицерина. Но нет, сейчас нельзя:

¹ Посадочные талоны (англ.).



может увидеть Илонка, перепугается и потребует, чтобы дорожную сумку я отдал ей... ничего, я сделаю вид, будто вытираю нос, и суну таблетку в рот незаметно, прикрывшись носовым платком...

— К сожалению, столько комнат мы не можем вам предоставить. Извините, но одну ночь придется потерпеть. Так сказать, в тесноте, да не в обиде... Шестеро молодых мужчин пойдут в одну комнату, шесть женщин в другую. Супругов попрошу... пожилых супругов вот вы и вы...

Я краснею, но, впрочем, он, конечно, прав. Три супружеские пары отправляются в одну комнату. Ах, какая разница. Сейчас важно только одно — спать.

Подъем в половине пятого. Через сорок минут автобус отвезет вас в гостиницу. Там вам нужно будет заполнить листки прибытия и отдать их портье. Таков здесь порядок. Да, еще раз заполните. Погода? Туман и снегопад. Четыре года здесь не выпадал снег, — надрывался представитель МАЛЕВА. — Кухня еще работает, и в ресторане есть горячие блюда.

Не нужны нам никакие блюда. Только спать — больше ничего. Но до сна еще далеко. И до автобуса, и до гостиницы. Пока это они «организуют». Да, как любил, бывало, говорить Яблонка: «Все дело в умелой организации. Вот на тебя, Геза, можно полагаться во всем».

А ведь и в самом деле, если бы всю эту «операцию» в связи с отменой вылета сейчас поручили провести мне, каждый уже давно получил бы ключ от своей комнаты. А вместо этого мы до сих пор толчемся у выхода номер три, у того самого, через который нас три часа назад выгнали на холод, в туман, к самолету. Все одновременно спрашивают, все разом говорят. Вещи брать с собой? Багаж можно здесь оставить?

— Ты спишь? — Илонка хватает меня за руку. — Геза, ты спишь?

Возможно, что я сплю, но сквозь сон я все равно слышу, как хлопают коридорные двери, слышу, как говорят, что нужно открыть большой чемодан, но я никак не найду ключ, да он и не нужен: мы уже в автобусе... здесь заполните... где же я все-таки? Может, и эта узкая, как кишка, комнатенка, тоже мне снится — две кровати, четыре раскладушки, чужие люди, вежливость сквозь зубы; да, на эту ночь мы все — товарищи по несчастью, согнанные в эту теснотищу... небритые, пахнущие потом, храпуны... сейчас только что объявили, что душевые уже заперты, в полночь, извините, их никто вам не откроет, прошу вас самих выбирать, кто на какой кровати будет спать, какая разница... в конце концов, мы же культурные люди, мне все равно, а мне, черт возьми, тем болес... да хватит жеманничать, ложитесь же вы наконец, спать, спать...

Заман, заман, заман... время, время, время. Кажется, так, сидя на пороге, начинала старая беззубая служанка свою сказку, которую много веков назад бабка ее прабабки, турецкая рабыня, привезла сюда из далекой страны, где в небо нацелены стрелы белых минаретов и на невысоких холмах зреет на ветках сладкий инжир. Заман, заман. Время, время. Я чувствую толчок в плечо, и снова мне начинает сниться этот странный, запутанный сон. Каждый толчок — это удар моего сердца, каждый толчок — один оборот мотора. Автобус урчит. Время, время — кричит водитель. Отправляемся! Четвертый день мы в Париже. Почему четвертый? Нас засовывают в автобус. Серия головокружительных поворотов — и мы оказываемся среди высоких каменных стен, а внизу, в долине, я вижу Париж. До меня вдруг доходит: я пробыл в Париже целых четыре дня и нигде не побывал, ничего не посмотрел. Не гулял по набережным Сены, не стоял на мосту Пон-Неф, не любовался собором Парижской богородицы, не посетил Сент-Шапель и Пантеон, даже на Елисейские поля не заглянул. Мне захотелось заорать и потребовать, чтобы меня немедленно вернули в Париж, это безобразие, меня обокрали на четыре дня, я их как-то не заметил, ничего не посмотрел... Удаляющийся от меня город подернут каким-то необычным маревом телесного цвета, даже цвета свежего мяса, вон он, го-

род, сейчас его видишь из ущелья, потом наплывает каменная стена, и он пропадает насовсем... Заман, заман. Надрывается мотор, да нет, это не мотор, это мое сердце, мое стучащее сердце и барабаны, не знаю, кто и зачем отбивает на них сумасшедший ритм: там-татарам-тататам, от него уже голова гудит. Может, это тамтамы снова созывают племена на битву? Или взывают о помощи? Или приглашают на свадьбу? Или зовут на погребальную тризну? Может, медлительная река принесла сюда эти звуки? Или она — всего лишь эхо, отраженное от скалистой стены? А может, эти звуки и есть те четыре года? Или четыре дня? Да нет же, это не барабаны гудят. Гудят моторы самолетов, стелется туман на аэродроме, храпят люди... Воздуха мне не хватает, воздуха... Куда я подевал свою коробочку с лекарствами? Илонка говорила мне, но я тогда заворчал на нее.

Идем, Илонка, пришел катер, теперь я уже вижу, отчетливо вижу его. Солнечный луч надвое разрубил мягкую темноту ночи, одним взмахом отсек леденящую какофонию звуков, свист и визг, щелканье и хлопанье, вой вышедших на охоту хищников и этот загадочный бой барабанов; из мглы, словно из небытия, выступили хижины туземцев, темные заросли джунглей вдалеке, и огромная зеленовато-

коричневая река, обтекающая миллионы крохотных островков, и раскидистые деревья с подмытыми водой и обнаженными корнями — все, все, что мы увидим в последний раз, когда придет катер, который прежде доставлял нам почту, а теперь принесет нам окончание командировки, возвращение домой, на родину.

Я зову жену, но она не идет, не слышит меня. Наверняка снова скоблит полы, дезинфицирует, кипятит воду, она вечно убирает, беспрестанно дезинфицирует, сражается с грибком, с плесенью, с ящерицами, забирающимися к нам в ботинки и кувшины с молоком, со змеями, поднимающими головы из-под нашей кровати, — со всем этим враждебным нам миром. Илонка, где ты, ты нужна мне сейчас, взгляни на реку, что это по ней плывет — грузные коричневые бревна или крокодилы? Между небом и рекой колышется тонкая кисея дымки; минуло все это — и четыре года, и командировочное задание, уже идет за нами катер, чтобы переправить на другой берег, где нас ждет вездеход, который отвезет нас на аэродром, а летящий вечерним рейсом самолет умчит нас на родину...

Меня вызвал шеф Адам Яблонкаи. Обсудить какой-то очень срочный, никому не нужный доклад. Секретарша кивнула мне: входите, шеф ждет. Я вошел, но у шефа еще кто-то.

Фери Кормош, инженер-электрик, рыжий великан лет сорока. Я его только раза два видел, да и то издали, потому что Кормош постоянно в отъездах: пять лет за рубежом, четыре недели дома.

— Мы уже закончили,— сказал Яблонкаи,— присаживайся, Геза. Словом, Фери, первого числа ты отчаливаешь.

— Нет,— твердо возразил рыжий великан.

— Знаешь что, оставь свои шуточки,— помрачнел Яблонкаи.— Так я тебе и поверил...

— Какие там шуточки? Руководить Восьмой монтажной отказываюсь. Ты знаешь, я согласен ехать куда угодно, кроме Восьмой монтажной.

— Так я тебе и поверю, что ты испугался! Испугался каких-то глупых суеверий!

— У меня семья. Я туда не поеду.

— Черт знает что! — возмутился Яблонкаи.— Ну скажи ему ты, Геза, насчет Восьмой монтажной. Эти умалишенные...

Я кивнул шефу, так как был уже наслышан о Восьмой. Первыми эту байку придумали водители автофургонов с контейнерами. Мол, Восьмая монтажная площадка заколдована и проклята. Одно несчастье за другим. Сначала бригадир умер от дизентерии. Потом у жены главного инженера — преждевременные роды. Техник Баняи, молодой парень, еще тридцати не

было, купается в море и прямо в воде умирает от паралича сердца. Потом следует дело Текнеша. Словом, за полгода четырех человек лишились. Говорили, будто вождь одного из племен проклял стройку, потому что раньше на этом месте было какое-то святилище. А еще говорили, будто кто-то подмешал свинины в пищу рабочим-мусульманам, вот аллах и разгневался. Были и другие версии. То ли на этом месте когда-то надругались над дочерью вождя племени, то ли украли барабан, созывающий воинов на битву. Словом, проклятие тяготеет над Восьмой монтажной, и люди требуют возвращения домой...

— Ты же интеллигентный человек, Фери. Тот дурень умер от дизентерии, потому что пил сырую воду. А сколько раз об этом напоминалось в инструкциях! У жены главного инженера Сигняи это уже не первый выкидыш, а третий, и два первых случились в лучших родильных домах Будапешта. Какое отношение ее здоровье имеет к Восьмой монтажной? Паралич сердца может случиться даже в банях Лукача. А в том, что Текнеш попался на спекуляции валютой, виновато не проклятие, наложенное на Восьмую монтажную, а сам Текнеш. Его настиг рок...

— Понимаю, шеф. Но все равно не поспею. Да там инженеру и делать нечего. Там нужен только хороший организатор, который сможет

наладить бесперебойные поставки снаряжения и знает английский.

— Ну что ж, нет так нет.— Яблонкаи встанет.— Найдем кого-то еще. Геза, у тебя нет на этот счет никакой идеи?

— Я поехал бы. Можно попробовать.

Это я сказал? Это был мой голос или загробный глас чернокожего колдуна?

Несколько лет назад Корпонаи подарил нам большую банку индийского чая «Эрл Грей». Подарок — его принесла Юдит — слегка смутил нас. Да по правде сказать, сначала чай нам и не понравился: сладковатый, слишком пахучий — до тошноты. Вообще мы чай редко пьем. На завтрак у нас в семье предпочитают кофе с молоком. Илонку мне так и не удалось отучить — она всегда примешивает эрзац-кофе из ячменя к натуральному, из зерен. Суррогат она называет «кофе Франка», потому что когда-то, до войны, ее мама покупала кофе этой фирмы. Вообще-то кофе с примесью куда лучше для сердца, чем настоящий, молотый из кофейных зерен, и намного дешевле. А чай, тот хорош при болезнях: ангине, гриппе, расстройстве желудка. Помню, Илонку возмутил подарок супругов Корпонаи. «Зачем,— выговаривала она Юдитке,— ты согласилась принять от них эту дрянь? И вообще, как это можно, чтобы пе-

дагог принимал какие-то подарки от своих учеников? И кто они такие, эти Корпонаи?»

«Скажу-как-нибудь-когда-будет-время», — вежливо уклонилась от диспута Юдит. Это было новое в общении наших девочек с родителями. Теперь они так всегда отвечали на любой наш вопрос: почему не пошли на курсы, почему отдали подружке магнитофон, кто тот лохматый парень, с которым вы до полуночи сидели в кафе? «Скажу-как-нибудь-когда-будет-время-а-сейчас-некогда!» «Между прочим, — добавила Юдит, — могу объяснить, а то ведь вы умрете от любопытства, почему мне подарили чай «Эрл Грей». Потому что они только что вернулись из Африки, а их восьмилетняя девочка там училась в английской школе, и мне теперь придется с ней дополнительно заниматься, так как здесь, в Венгрии, она снова пойдет в первый класс, а я буду у них учительницей на продленке».

Юдит, конечно, никакой не педагог, просто некоторое время она работала в группе продленного дня воспитательницей в расчете на то, что после года работы в школе ей будет проще поступить в учительский институт. Но не прошла по конкурсу, бросила работу в школе, записалась на курсы стенографии и машинописи, потом перешла на курсы модельеров и ни от каких учеников больше подарков не получает, об институте она и не думает и иногда работает

в подсобке продовольственного магазина. «Как-нибудь-когда-будет-время... И скажите еще спасибо, что все, что зарабатываю, волоку домой. А вообще этот Корпонаи знает тебя: вы с ним в одной конторе работаете...»

Так вот началась наша дружба с Корпонаи, если можно назвать дружбой те навязчивые знаки внимания, которыми мадам Корпонаи норовила засыпать воспитательницу своей дочери на продленке, нашу Юдитку. За чаем «Эрл Грей» последовала плитка шоколада «Таблер», пачка овсяных хлопьев и, наконец, приглашение в гости, полученное мною от Дёрдя Корпонаи в столовой нашей фирмы. Как-то во время обеда он подошел к моему столу, поставил свой поднос рядом и тихо говорит: «Разреши, коллега Геза? Какие у вас планы на субботний вечерок? Мы были бы рады, если б вы с вашей милой супругой и дочуркой...» — «У меня три дочурки», — пробормотал я, торопливо уминая гарнир из стручковой фасоли — спешил на совещание в отделе. Я-то знал, какая из моих трех дочурок интересует Корпонаи: та, что учит его дочурку на продленке, и с удовольствием отметил, как он покраснел. «Разумеется, приходите со всеми тремя, ждем вас на ужин».

«Нет. Зачем это нам надо? — были первые слова Илонки. — Что у нас общего с этими Кор-

попай? И что я надену? Что нести им в подарок? Бутылку «Бычьей крови»? Или горшочек с примулой? Ладно, обсудим с девочками».

Но с девочками ничего обсудить не удалось. Кати заявила, что у нее свидание. Аги, пожалвав плечами, сказала, что ее не интересуют ни ученики Юдитки, ни мой сослуживец. Но удивительнее всего повела себя сама Юдит. В пятницу после обеда она оставила на столе в кухне записку: «Уехала на три дня в Хайдусобосло¹».

От автобусной остановки еще довольно долго добирались пешком. Я с бутылкой вина под мышкой, Илонка с каким-то длинным сорняком в горшке весом в центнер — мы, тяжело отдуваясь, ползли вверх по улице, поднимающейся в гору. Нам никогда раньше не доводилось бывать в этом районе, пришлось спрашивать у редких прохожих, чтобы не заблудиться среди множества переулков, петлявших по склону горы. Я и не подозревал, что в городе есть такие уголки — с фешенбельными виллами в четыре этажа посреди роскошного сада, с подстриженными газонами, бассейнами, строгими железными изгородями и еще более строгими надписями: «Посторонним вход воспрещен». Но мы-то не были посторонними. Корпонай ждал нас на углу. «Ну вот! — воскликнул он. — А я думал, вы на машине при-

¹ Курорт в восточной части Венгрии.

едете, иначе я встретил бы вас внизу, у автобусной остановки». — «Нет, мы не на машине, у нас никогда и не было ее, да и в такси мы редко ездим, разве что в театр, а в театре мы тоже не часто бываем...»

Такси — это по особым случаям. И не потому, что нет денег. Сколько раз, бывает, выбираешь так, на ветер, двадцатку. Но все равно: такси — это когда везешь куда-нибудь кучу вещей или едешь на свадьбу, на похороны. В начале каждого месяца Илонка покупает пять проездных билетов — это уже пятьсот пятьдесят форинтов. Девочки даже спасибо не говорят, считают, что это наша обязанность. Ну да бог с ними...

Жене Дёрдя Корпонаи на вид лет тридцать пять, самому Корпонаи — сорок три. Это уже не наше поколение, на десять лет моложе нас, не знаю, право, о чем мы станем с ними беседовать. Мадам Корпонаи чуть не поперхнулась, увидев, что мы пришли без Юдит, но улыбку на лице удержала. Приглашают: пожалуйста, проходите. Я не знаю, куда мне деть бутылку, Илонке — тоже никакой пощады, и она волочит дальше свой горшок с примулой или гортензией — не знаю, с чем он там. Идем по дому, разинув рты от удивления: я и не подозревал, что у нас в Венгрии бывают такие хоромы. Наши пальто повесили не в прихожей на вешалку, а поместили в просторной гардеробной комна-

те. Нас провели по всей квартире из шести комнат, где сплошь ковры, шелковые обои, серебро и мрамор. Показали все, включая ванную комнату, отделанную итальянским кафелем и гранеными венецианскими зеркалами, спальню с белоснежным меховым покрывалом на огромной французской кровати, шелковым пакистанским ковром на полу и конголезской картиной на стене у изголовья, написанной на тонкой сафьяновой коже и изображающей какую-то батальную сцену. В салоне два массивных кожаных кресла из Югославии, инкрустированный марокканский курительный столик и везде, куда ни взглянешь, слоновая кость и серебро, восточные чудеса из бронзы и японского шелка. Мадам Корпонаи была в индийском сари из шелка цвета бирюзы с золотой ниткой. Из бара были извлечены японское саке и американское виски. Корпонаи оказался и тут большим знатоком и принялся объяснять нам, в чем разница между шотландским и американским виски. Шотландское, оказывается, делают из ржи, «Бурбон» — из кукурузы, саке — из риса, а...

«Давайте выпьем и осмотрим еще и зимний сад, в котором есть финиковая пальма и четыре сорта орхидей».

После сада Корпонаи показывает нам детскую, где с нами вежливо здоровается маленькая Эдитка, восседающая посредине царства из

нескольких десятков кукол, умеющих говорить, плакать, закрывать глаза, танцевать, и из шестидесяти томов «Детской библиотеки», здесь же стоит индейский вигвам, установка для запуска космического корабля, шкаф с набором «конструкторов», надувной слон и медведь в рост человека, кукольный домик, автогараж, кинопроектор, магнитофон, а она забавляется... куском какой-то бечевки.

«Это милые папа и мама твоей учительницы тети Юдит,— представляет нас хозяин и говорит нам:— Познакомьтесь с нашей великовозрастной дочерью!» Но привел он нас сюда, конечно же, не ради девочки. Отпихнув ногой игрушечных зверюшек, он торжественно возглашает: «Вот в этом месте, под ковром, который во всю комнату, в пол вмонтирован бетонный сейф — несгораемый, водонепроницаемый и невскрываемый. Здесь хранится золото». В этом Корпонаи тоже знает толк: за сколько лет службы за рубежом разрешается привезти без пошлины автомобиль, за сколько — настоящие персидские ковры, мебель, а главное — золото. «Потому что самое важное, самое умное — это не потерять голову, не размотать деньги на пустяки, а приобрести золото. И не какое-то там пятисотой и семисотой пробы, а червонное, в цене, на нем не прогадаешь, его не девальвируют, и никаких долларов, они нам не нужны; ну, швейцарский франк — этот еще

куда ни шло, но я вам говорю, друг мой: лучше всего золотишечко... Ладно, прозвучал гонг, значит, стол накрыт, прошу».

Серебро, скатерть дамасского полотна, старинный импортный фарфор. Вина, еще более старинные и выдержанные. «Если хочешь, Гелла, прошвырнуться за рубеж, я на ближайшей дирекции могу завести об этом разговор. Не плохо бы и вам годика на три-четыре куда-нибудь. Прошу: черепаховый суп. Наше любимое блюдо. Почти тот же вкус, что у крепкого бульона, только острее...»

Вернулись мы от Корпонаи домой, и квартира наша будто уж и не наша. Распахнул я все окна, чтобы не задохнуться. Милый домашний очаг, тридцать лет верно служивший нам, тахта на двух сдвинутых половинок, бра, которое никак не соберусь починить, вытертый персидский ковер — все вдруг сделалось невыносимым. Выщербленный там и тут кафель в ванной, расшатавшийся еще с прошлого года кронштейн оконных жалюзи... С прошлого? Наверное, уже лет пять! И с тех пор мы на одном окне вообще не поднимаем жалюзи. Зимой нет смысла: все равно темно, а летом и без того слишком ярко светит солнце, даже и через одно окно. Опротивела вдруг улица со следами второй мировой войны на стенах домов, старомодные краны, облупившийся ветхий газовый бойлер, омерзительно удушливый запах нафта-

лина и вечно пахнувшая газом передняя. Сколько раз мы вызывали газовщиков, даже давали им на чай, но специалисты — с зажженной спичкой со всех сторон опробовав газовый счетчик — заявляли: все нормально, все о'кей!

Между прочим, Эдитка Корпонаи благополучно сдала экзамены, и больше не было ни английского чая, ни приглашений, ничего.

В международном отделе мне вручили пачку анкет, а я не знал, что с ними делать. Референт удивленно уставился на меня. Как, неужели вы никогда не заполняли анкет на выезд за рубеж? В Чехословакию-то, уж наверно, высказывали разок-другой за чем-нибудь? За кроссовками, за запасными частями для автомобиля...

— Нет у меня автомобиля.

Референту лет тридцать пять. Когда мне было столько же, о какой за границе мы могли тогда думать?! Для меня тогда за границей был роман Жюль Верна «Вверх по Ориноко». Впрочем, нет, его я прочитал в одиннадцать, у меня была тогда ангина, и я лежал с температурой и читал. Горячая, взмокшая подушка была моими джунглями с ленивыми водами реки, с туземцами, плывущими на лодках-долбленках, с пестрыми птицами, кричащими на деревьях. Это было мое единственное до тех пор путеше-

стине. Потом началась война, украинская степь, Днестр — порой казалось, что я иду по венгерской пусте, запорошенной снегом, где-нибудь на Алфёлде. Иду и сам удивляюсь: зачем я здесь? Что я тут потерял? Вернусь ли когда-нибудь домой? Только бы вернуться, странствовать меня больше не заманишь. А впрочем, если бы и потянуло странствовать? Много наше поколение путешествовало? Ударные стройки, насады в село, на коллективизацию, потом пошли дети. Вот, говорили мы, когда они подрастут, тогда уж... вот накопим денег, купим в «Ибусе» туристские путевки... Накопили, ну что ж, пусть ездят они, молодые, а мы уж, когда найдем на пенсию... столько путевок бывает, профсоюзных, льготных; сначала нужно свою родную Венгрию объездить... кто свою страну не знает, чего ему за границу ехать? Илонка, знаешь, куда бы нам следовало махнуть? В Шарошпатакский замок! Или в Шиклош! Откуда Дорогея Канижаи отправилась хоронить павших в битве под Мохачем венгров. Или знаешь, где я еще никогда не был? В Сегеде! Подумай только, никогда не был в Сегеде! И вдруг на меня свалилось само — иметь все-все: и серебряные турецкие чашечки для кофе, как у Корноши в его фешенебельной квартире, и «форд-капри», такой, как тот, что беспощинно ввез из-за границы инженер Телекеш, доступными сделались сразу и сияющее синевой небо,

и дурманящие ароматы тропических цветов, и вкус манго. Господи, каков, интересно, вкус у этого манго?! Удивительное шелковое небо, сафари, полные приключений путешествия на автомобиле, двадцатиэтажные первоклассные отели с террасами и бассейнами, где из прозрачного стекла и стены, и дно — сидишь себе в баре, пьешь виски со льдом, а над твоей головой проплывают красавицы феи. Счет в банке, иностранная валюта, любые напитки (за гроши!) на рождество. Путешествия вокруг света. И о чем же я думал до сих пор? Смотрел, как всем этим пользовались тридцатилетние хищники? Когда-то и мне нужно... и мне тоже нужно...

— Заполните и завтра принесите.

— Илонка, — сказал я после ужина жене, — иди сюда, посуду потом вымоешь, давай вместе заполним анкеты. Фамилия матери, отца, место рождения, семейное положение, судимости, привлекались ли, место жительства, должность, характеристика с места работы, имеете ли родственников за границей?.. Имеем мы родственников?.. Фреда надо упомянуть. Двоюродный брат. Как это я никогда тебе не говорил о нем?! Да ты что, Илонка? Говорил, ты просто забыла. Мама переписывалась с ними, пока тетя Бетти была жива, так что не говори мне, будто не знаешь, кто такая тетя Бетти, мама часто о ней вспоминала, она, конечно, звала ее Эржи. Ее

единственная родная сестра. Еще до первой мировой войны вышла замуж, тогда она, конечно, не могла знать, что скоро будет мировая война. В 1911 году вышла за токаря, родила двух сыновей, а муж остался без работы. Вот он и отправился искать счастья в Америку. На перроне погладил по головке своих крошек и, едва сдерживая слезы, поклялся, что в течение года пришлет им деньги на дорогу. А через год пароходы уже больше не ходили: началась война. Эржи стала работать на военном заводе, и все вода ей снилась: много-много воды, гневные зеленые волны. Просыпалась, дрожа от страха: если вода снится — это не к добру. К болезни, а то и к смерти. И всех оплакивала: мужа, от которого ни слуху ни духу, двух сирот своих — Фери и Андраша, свою молодую жизнь двадцатипятилетнюю. А через пять лет приходит толстый конверт, в нем — фотографии, длинное письмо, бумаги, которые нужно было нести в банк и в полицию. У мамы был отрез на пальто, так она его отдала тете Эржи, чтобы та сшила себе или ребятам кое-какую одежонку на дорогу. Отдала цепочку серебряную и кольцо, напекла целую сумку пирожков, собрала в дорогу муки, картошки, немножко жира... И вот уже нет в живых ни тети Эржи-Бетти, ни дяди Билла, нет Андраша-Эндрю, который погиб в тридцать лет при высадке десанта под Шербуром уже во вторую

мировую войну. Смерть и война есть всегда, независимо от того, снится ли вода или нет... Остался в живых один Ферко, который теперь стал Фредди и которого я еще в глаза не видел. Раз в пять лет он присылает красивую открытку с рождественскими поздравлениями. Я вписал Фреда в анкету и охнул: *Фред Корнби, Янгстаун, Огайо, США*. Моя поездка сразу стала проблематичной. И одновременно такой реальной, даже неизбежной.

Выйдя от Яблонкаи, я отправился в наш буфет и выпил две чашечки кофе. Попытался мысленно еще раз проиграть сцену, происшедшую в кабинете директора. Невероятно. Чепуха какая-то. И Яблонкаи отлично знает, что я это так, пошутил... Язык у меня без костей. Сейчас вернусь и скажу. Что скажу? И зачем? Он уже все равно не станет теперь меня слушать. Не могу же я сказать: мол, не предполагал, что они отнесутся к моему предложению всерьез... что такие решения прежде нужно обсудить с женой. И все же надо сходить к нему, чтобы случайно не...

Навстречу мне поднялась секретарша.

— Что-то очень важное? У шефа гости. Из министерства.

— Нет-нет. Так, ничего. Завтра зайду.

Я вернулся к себе в комнату. На столе лежала записка:

«Просим занести в отдел международных связей автобиографию (в трех экземплярах). И в порядке ли у Вас загранпаспорт?»

Теперь я уже знаю, почему покатывались со смеху ребята в первом классе гимназии, когда я на уроке прочитал вслух свое сочинение. «Мой папа хороший человек, он высокого роста», — начал я и смешался от всеобщего хохота и визга. Учитель хлопнул линейкой по столу, требуя тишины, хотя и у самого в глазах прыгали смешинки. У меня даже под ложечкой засосало. Чего же они смеются? Мой отец действительно великан, на его столе из куска ткани рождаются необыкновенные одежды; он мог бы хоть самому королю сшить мантию, если бы король пришел к нему и попросил; бакалейщик, который живет по соседству, тоже все обещает прийти, но никогда не приходит, и потому мой папа такой тощий и печальный, но все равно он всегда что-то придумывает, на что-то надеется и как будто готовится к битве...

В памяти остался и еще один день. Я тогда был совсем маленьким, но никогда не забуду его, тот осенний предвечерний час. Папа погладил мамину руку и тусклым голосом сказал: «Ничего выхода нет».

Мама печально кивнула, соглашаясь с ним, достала кошелек и со вздохом сказала: «Вот, возьми. Последние два пенгё» — и отсчитала маме двадцать монеток по десять филлеров.

«Выше голову! — приободрил ее папа. — Вот увидишь, все образуется. Ты ведь знаешь, если я вижу во сне мою покойную матушку...»

Я не понимал, куда он собирается, но спросить его об этом не посмел. Видел только, что ему предстоит что-то необыкновенное, торжественное. Папа надел свое лучшее пальто. Старательно начистил ботинки. Мама провела щеткой по его шляпе и по спинке пальто. «Может, он идет на войну?» — с тревогой подумал я и все смотрел, не наценит ли он на пояс саблю и не соберет ли мама ему в дорогу испеченные на поду в золе пирожки?! Папа и мама поцеловались. Папа погладил меня по голове и на прощание сказал: «Не дрейфь, теперь у нас все будет. И суп, и два больших апельсина. Нет, три апельсина». И куда это собрался папа? Может, он сейчас спустится в колодезь, как солдат с огнивом, и достанет со дна много-много золота, хотя золото это стережет пес с глазищами величиной с блюдце, или он идет на рыцарский поединок, или будет сражаться с самим дьяволом? «Папа, не ходи!» — хотел крикнуть я, но отец уже ушел — повеселевший, казалось, даже помолодевший. Чуть ли не бегом побежал... Мама весь день молчала, о чем-то думала, а потом вдруг велела мне молиться. «Но ведь...» — хотел было возразить я, видя, что ужинать мы еще не собираемся да и спать вроде бы рано. Словом, нет еще повода молиться. Но я чувство-

вал, что и спорить нельзя. «А о чем молитесь?» — «Все равно о чем», — тихо проговорила мама. «Боженька, добрый боженька, — забормотал я, — глазки мои уже закрываются, мой боженька...» Наверное, сто раз повторил, а может, и тысячу. С ума все посходили: и ужинать не садятся, и спать не отправляют. Папа тоже не вернулся, может, где-то сражается, а может, срывает в волшебном саду для меня апельсины, но злое чудовище отбирает у него апельсин, и дракон, дракон... Я так и уснул в углу и проснулся, только когда услышал, как мама поворачивает ключ в двери. Мама бросается к нему, папа входит, лицо у него разгоряченное, глаза мутные, говорит невнятно, сбивчиво: «В первый раз мне правильно подсказали, ставь на новенькую, но я не решился рисковать всеми деньгами, какая уж там может быть смелость, если в кармане у тебя всего два пенгё. Один пенгё я поставил на лошадь, которая победила в первом забеге, а серая лошадка, Ведьма, принесла двадцатикратный выигрыш тем, кто поставил на нее. Но все равно теперь у меня уже было три пенгё... И тут...»

Я ничего не понимал из его рассказа, не понимала и мама, мы только смотрели с нетерпением на его руки, скоро ли они начнут вынимать из карманов сокровища, золото и апельсины.

«Погоди, — остановил маму отец, когда та

робко попыталась перебить его.— Погоди...»

«Ну и чем кончилось-то?» — лопнуло мамин терпение.

«Кончилось? — Отец словно пробудился от сна.— А ничем.— Он вывернул карманы.— Ничем. Жулики. Все они там до одного жулики».

«Ну и ладно,— тихо промолвила мама.— Ничего. Через это тоже надо было пройти».

Я не сказал Яблонкаи, что дома еще не обсуждали этого вопроса. Хотел явиться с сюрпризом: «Илонка, девочки, представляете...» И конечно же, хотелось немножко прихвастнуть: высокое доверие, требовался ответственный человек, для меня редкий шанс... Но девочек, разумеется, не оказалось дома, какая уж это семья, скорее квартиранты на бесплатном пансионе; впрочем, и на пансион они чихать хотели: Аги сидит на диете, высохла, как макаронина, но продолжает худеть дальше, питается только сыром «Эменталь» и еще не знаю чем. Юдит, неизвестно какими путями, достает себе талоны в студенческую и заводскую столовки, Кати терпеть не может овощей, а что, кроме них, еще можно приготовить на ужин? Из каких денег? Девочки, конечно, зарабатывают (зарабатывают!), но все их заработки уходят на их же наряды, магнитофонные кассеты и бог весть на что. «Я и не хочу, чтобы они

отдавали свои деньги мне, но хотя бы для себя накопили», — говорила Илонка. «Копить? На что, на квартиру? На это мне потребовалась бы зарплата за четыреста месяцев! — вопила Ани. — В других семьях хотя бы есть старенькая бабушка, к которой можно прописать внучку. А кто ворует. Или начинают строить один большой дом на всю семью. Или выигрывают в лотерею». Словом, пришел домой — Илонка одна, стряпает на кухне.

— Шпинат будешь? Представь, достала комплект постельного белья, совсем недорого.

Илонка вот уже несколько лет готовится к выходу на пенсию. «Давай сделаем тебе еще одно зимнее пальто, потому что, когда уйдем на пенсию... Давай пополним столовый сервиз, в нем не хватает четырех тарелок, а то на нашу пенсию не очень-то купишь... давай купим газовый камин».

Она готовится к выходу на пенсию, как иные — к замужеству. Моя покойная бабушка так консервировала впрок на зиму компоты и томаты. Ах, если бы можно было купить проездные билеты на автобус на много лет вперед, чтобы под старость жить без забот, скромно, ни в чем не нуждаясь...

Я стоял посреди кухни, где все мне было так знакомо и привычно — начищенные до блеска весы, и медная стука на старинном буфете, и ровный ряд чисто вымытых тарелок

в сушилке над мойкой. Я хотел уже сказать Илонке: брось ты свой шпинат и постельное белье, пойдем поужинаем в ресторане «Под ореховым деревом», выпьем по стаканчику вина, а вообще-то увезу я тебя скоро отсюда, и начнется у нас дивная жизнь.

— Ты сильно проголодался? — спросила Илонка.

— Да нет. Не знаю...

Я никогда раньше не замечал, что у нее столько уже седых волос. В общем, я взял и рассказал ей все. Собственно, чего я ожидал? Восторженных возгласов? Троекратного «ура»? Или что они примутся развешивать в гостиной трехцветные национальные флаги? Но сам я вдруг ощутил волнение, в висках у меня застучало, в горле пересохло.

Как-то после обеда я отправился в поликлинику. Сделал анализ крови, электрокардиограмму, рентген. «С этим завтра пойдете к терапевту», — сказали мне, вручая листочки. Я кивнул, посмотрев на заключение внизу: *«Изменения соответственно возрасту»*. Словом, не лучше и не хуже, чем у других в мои годы. Сужение коронарных сосудов, сосудистые стенки уже не так эластичны, как прежде, небольшое расширение сердечных камер слева, сглажена дуга аорты, на снимке светлые поля — признак начинающейся эмфиземы легких, темные обызвествленные островки — следы перенесенных

когда-то воспалительных процессов. Что еще должен ожидать от рентгеновского снимка человек в пятьдесят шесть? Со всем этим еще можно потихонечку жить, не спеша поднимаясь пешочком на четвертый этаж, не забывая вздремнуть часок после обеда, избегая волнений, тяжелой пищи и нагрузки, поднимающей кровяное давление. Соответственно возрасту... Но я должен показать им, что я сам хозяин своей судьбы... чтобы мои сопливые девчонки в этом убедились. Илонка, конечно, ударится в слезы, заохает, заохает, что теперь будет с ее работой, должностью, господи, подумаешь, должность — всего лишь бухгалтер в продовольственном магазине. Девчонки замучают расспросами, дурачиться начнут: папочка, интересно, как ты будешь смотреться в тропическом шлеме? Вы будете ездить на верблюдах или на вездеходах? А вы сможете выдержать страшную жару и влажность, москитов и тропические тайфуны?.. Проговорим до глубокой ночи и сразу почувствуем, как мы нужны и дороги друг другу. Девочки, мы с мамой решились на это, едем в тропики на четыре года, чтобы потом легче было справиться с одной общей проблемой...

— Дети дома? — спросил я Илонку. — Нам нужно обсудить кое-что важное...

— Да-да, — ответила она, и я услышал, как в ванной она сердито выговаривает Кати:—

Могла бы побыть дома полчаса, раз это нужно отцу...

Мне нужно было, чтобы они все хотя бы уселись. Но Илонка накрывала на стол, гремела ножами, вилками, складывала вдвое бумажные салфетки; Кати, надувшись, уже стояла в плаще из болоньи, прислонившись плечом к дверному косяку. Аги в пижаме (в восемь вечера! больна? уже легла спать? или еще не вставала?), у Юдитки на коленях какой-то иллюстрированный журнал, который она то и дело листает.

— Вот взгляните на эту карту. — Я бросил на стол раскрытый атлас мира. — Семь тысяч километров отсюда... На четыре года... Руководство остановило свой выбор на мне потому, что наша фирма оказывает мне доверие...

— Вот это блеск! — вскричала Аги. — И хата будет свободна?

— А сколько вам будут платить? — спросила Кати.

— Когда вы уезжаете? — поинтересовалась Юдит.

Илонка не проронила ни слова.

Все тот же неотвязный сон. Бородатый турок в тюрбане является мне из сказки. Заман, заман. Время, время, произносит он угрожающе. Затем его глухой голос (или это бой бараба-

на?) сменяется урчанием автобусного мотора. Четыре дня мы в Париже. Почему четыре? И почему в Париже? Водитель поторапливает: прошу садиться в автобус, отправляемся на аэродром. Потом мы мчимся по шоссе. Рассвет это или поздний вечер? Несемся вдоль каменного ограждения, потом между скал — по серпантину дороги, внизу, в странном мареве телесного цвета, город, которого я так и не увидел — ни собора Парижской богородицы, ни Сент-Шапель, ни Елисейских полей. А впрочем, разве только Париж я не увидел? Что я вообще увидел и узнал за эти четыре года? Реку без названия, которую мы пересекли по высохшему и растрескавшемуся руслу на спотыкающемся и грозившем перевернуться вездеходе в день нашего приезда? Потом, после первого же ливня, она превратилась в безбрежное море, и откуда-то в ней сразу же появились крокодилы с выпученными глазами. Моего прораба, который со своими двенадцатью ребятишками ютился в глиняной хижине, покрытой пальмовыми ветками? Посередине хижины была вырыта яма, вокруг которой все его семейство укладывалось на ночлег, и черные вытянутые ножонки смыкались стопами над этой ямой с тлещими угольями. Их щелкающий, гортанный язык? Я так никогда и не мог понять, где у них кончается одно слово и начинается другое. Их странные празднества, когда они, рас-

севшись вокруг костра, обжигаясь, выхватывают горячие куски мяса из котла или лепешку с пылу? Стометровые деревья, вершины которых купались в знойном тропическом свете, а стволы у земли даже днем окружал ночной мрак? Когда деревья падали, умирая, влажный зной за несколько часов обращал их в труху. Мог ли я привыкнуть к местным шумным базарам, где бездомные, полуголодные нищие клячат миску похлебки, где мальчишки с подносами на голове предлагают салат и бананы, и на земле, на циновке, под огнями неоновых реклам разложены целебные травы, расставлены глиняные горшки, транзисторы и стада слоников из эбенового дерева, вокруг на деревьях прыгают обезьяны и в небе зловеще клубится туча стервятников? Научился ли я понимать, о чем кричали люди на базаре, вдруг сбиваясь в кучу? Просили у бога хорошего урожая? Или радовались свободе?

А научился ли я понимать самого себя? У меня еще не было времени понять самого себя.

Лет восемь назад впервые приснился мне этот странный сон — урчащий автобус и чей-то предостерегающий голос: заман, заман! Вдруг толчок в плечо — я проснулся и схватился за пульс. Сто двадцать, сто сорок ударов, а потом не сосчитать.

— Только Илонке не проговорись! — предупреждал я Пали Радаи, прибежав к нему на другой день. Пали был моим одноклассником.

— Пароксизмальная тахикардия налицо, — усмехнувшись, констатировал он. — Ну и небольшая стенокардия. У меня самого все это уже было. Конечно, будь осторожен, во время аритмии прими таблетку тразикора или вискена. Если почувствуешь удушье — диафиллин. И регулярно — нитропентон. А время от времени являйся к врачу — провериться.

Ну конечно, кто ходит к врачу просто провериться! Пали прописал мне нитропентон и вискен. Еще пару коробочек прописал участковый врач. Третье лекарство дал мне шурин. Иногда я принимал его, когда чувствовал боли в сердце... Где-нибудь на заседании или в автобусе. Порой ночью, потихоньку, чтобы Илонка не заметила, просто проглотил таблетку, не запивая. А перед осмотром у терапевта напиринимался сразу всего, утром даже от кофе отказался. «Будь спокойненьким, умненьким!» — пеленул я своему сердечку.

Докторша долго слушала его. Седенькая такая, худенькая. В годах уже, не намного моложе меня.

— Вот здесь, за грудиной, не побаливает иногда?

— Нет.

— А когда поднимаетесь по лестнице, одышка бывает?

— Нет.

— Но что же у вас такое случилось?

— Ничего,—быстро ответил я.— Даже насморка никогда не бывает. И у жены моей... Она завтра к вам придет.

— Да нет, я не о том,—как-то странно, кисло-сладко улыбнулась доктор.— Я хотела спросить, зачем вам все это нужно?

— Важное задание. Нужно для фирмы.

— Да-да. Но вы понимаете: климат-то! И опять же риск, связанный с большим количеством прививок. Оспу можно было бы и не прививать, но едущим в этот регион я и ее советовала бы повторить. Противотифозную, от холеры. И от желтой лихорадки. Вы представляете себе, что это за прививка?

— У меня три дочери.

— Да, понимаю. Ну тогда удачи вам. С этой бумагой пойдете на прививки.

Спускаясь вниз по лестнице, я снова принял нитроглицерин. Ладно. Это мои два последних пенгё. Попробую и я сыграть.

А свадьба — вот был цирк-то!

«Ты же сам хотел», — читал я в упрямых взглядах дочерей. Даже как зовут женихов, я толком не запомнил, не говоря уж о том, кто

на них чем занимается. Глядя на стоявших вокруг, я тоже мог только гадать, кто из них сваты, кто шурины, сватья и отныне — мои племянники. Илонка была бледна как смерть и молчалива. Нет, я и теперь не понимаю, как это все получилось. У Юдитки под глазами черные круги. Только однажды она смотрела так на меня: когда я в первый раз вел ее в детский сад. «Не оставляй меня тут! — рыдала она. — Мне здесь плохо, не оставляй меня». Она уткнулась заплаканной мордашкой в мое пальто, цепляясь дрожащими ручонками за рукав, я с трудом оторвал от себя ее маленькие цепкие пальчики. И потом каждое утро поднимал ее в пять, в половине шестого тащил в садик, а она и по мне вскрикивала. По вечерам мы ворчали на них, потому что они долго не могли уговорить нас, мешали нам смотреть телевизор. Мы считали, что они получают от нас все, что нужно: обувь, учебники, мороженое, магнитофон... А теперь вот стоят они, три мои дочери. Что же я творю или я совсем с ума спятил? Несколько недель ушло на беготню: делал прививки, меня трясла лихорадка, на коже вздувались волдыри, а я как дурак все ждал, не спросит ли хоть одна из моих девочек: папа, тебе очень больно? Или сядет рядом и попросит: папа, покажи на карте, куда вы поедете? Но они будто ошалели от счастья и думали только об одном — трехкомнатная квартира в центре будет свобод-

на, и у каждой из них будет наконец отдельная комната, где они смогут делать все, что им вздумается... И тогда я сорвался, я завопил, словно сумасшедший:

— Так не может продолжаться, я хочу поговорить с вами, и поговорить серьезно, а не так, когда вы стоите в плащах, подперев плечом притолоку, спешите, поглядываете на часы, лишь бы поскорее сорваться с места... Если с вами говорят, то извольте... И ты, Илонка, тоже перестань отмалчиваться, мне не святая мученица нужна, а верная жена, понимающая, что нам надо вместе привести в порядок дела и... Отцы и дети никогда не понимали друг друга. Разве смогу я объяснить вам, что такое голодать, мечтать о куске хлеба или тарелке супа? Вы просто не поймете меня. Как я не понимал своего отца. Помню, отцу было еще только пятьдесят, но он уже крошил себе хлеб в суп: у него повыпадали зубы и не было денег на зубного врача. Я даже не понимал, как еще млад мой отец и что он тоже мог бы с хрустом откусывать жесткое яблоко и жевать мясо, а он довольствуется кашей и размоченным в супе кусочком хлеба... Ладно, я не к тому... Мы с мамой уезжаем сейчас на целых четыре года. Оставляем вам эту трехкомнатную квартиру. Можете делать здесь что угодно, но только не превращайте ее в притон. Может, потому, что мне уже сто тысяч лет, я не люблю этих завыва-

ний бит-музыки, и я не хочу, чтобы здесь, в моем доме, поселился длинноволосый павиан и, столкнувшись со мной в дверях, даже не по-доровался. Юдит, тебе скоро двадцать пять, Аги и Кати, вам уже тоже за двадцать, это правда — отдельных квартир мы для вас не сумели построить, наверное, поэтому вы и не можете выйти замуж. Хотя, конечно, когда мы с вашей матерью... у нас не то что квартиры, угла своего в чужой квартире не было. Теперь на четыре года квартира ваша, а мы в конце лета уедем. Четыре года вы можете жить здесь — квартира уже оплачена — и копить деньги. Работайте, экономьте, копите. Мы с мамой тоже будем копить. Приедем — привезем доллары или золото и бриллианты магараджи. Купим общими силами дом, попробуем к нему что-то пристроить, посмотрим, какую мебель добавить... Я же не спрашиваю вас, ей-богу...

Что может спросить отец у своих молодых дочерей?! Я поперхнулся, смешавшись. Девочки спокойно смотрели мне в глаза, ожидая, что я скажу еще.

— Одним словом, я знаю, что в наше время не бумажка важна, не она связывает двух людей на всю жизнь, но все-таки я не хочу, чтобы вся улица чесала языки о хорватовских дочках... В этой квартире могут спать только ваши законные мужья, а не так, кому вздумается. Нам с мамой хотелось бы познакомиться с ва-

шими женихами, избранниками, ведь мы могли бы дать вам совет, предостеречь... Ну конечно, если вы надумаете замуж, когда нас тут уже не будет, тогда...

Молчание. Смотрят на меня, и меня все сильнее охватывает замешательство. Что я говорю? Женихи... предостеречь! Кого, от чего, как?

После трех минут молчания Кати, округлив глаза (темно-синие, умные, чистые), с невинной улыбкой спрашивает:

— Совещание окончено? А то я хочу еще успеть на детектив.

Через неделю Кати объявила, что помолвлена и скоро приведет показать, представить нам своего избранника. На пасху две другие дочки тоже преподнесли мамочке сюрприз, сообщив, что и у них есть по жениху. У Илонки голова пошла кругом от счастья. В один день сыграем сразу три свадьбы — букеты гербер, праздничный обед в «Золотом барашке» на Чиллагхеде (один из моих будущих сватов, имя его я не запомнил, знаю только, что он в тамошнем кооперативе, сказал: отличное местечко). Заведующая бюро по регистрации браков, приняв заявления на тройную свадьбу, пришла в восторг. Сказала: такого еще не было в ее практике — чтобы три сестры одновременно выходили замуж. По этому случаю она напишет специальную речь.

Илонка, растрогавшись, сообщила девочкам, что мы всем им оплатим двухнедельное свадебное путешествие: Матрафюред, Шопрон, Балатон — на выбор, кто куда пожелает.

— Аги, — сказал я, взяв дочку за руку, — что это вы все вместе? Не пожалеешь потом, хорошо все обдумала? Замуж выходят не на один день — на всю жизнь.

— Да, папа.

— А кто этот твой Лайош? Давно вы с ним знакомы?

— Какая разница? Согласен взять меня замуж — и ладно. В основном потому, что у себя дома ему жить уже не вмоготу. А снимать комнату — это две тысячи в месяц.

— Аги, девочка моя, о чем ты говоришь? Неужели ты так дешево себя ценишь? — Мне хотелось закричать на нее: «Ты шутишь! Я не разрешаю тебе так выходить замуж! Вы это всерьез или только из озорства затеяли эту тройную свадьбу? Девочки, я же люблю вас. И хочу вам добра. Аги, я и тогда любил тебя, когда попался из-за того, что ты бросила учебу, а ты пожимала плечами, нагло усмехалась, говорила: «Какой смысл пять лет корпеть над учебниками в институте, многого ты добился со своим дипломом и своим прилежанием?»»

Несколько приглашений я раздал у себя в конторе. Всеобщий восторг.

— Вот это да! — говорили мне. — В наше-то время, когда родителей вообще не приглашают на свадьбу и только после рождения четвертого ребенка или пятнадцати абортотворений начинают подумывать: а не пора ли нам расписаться? Да, молодежь нынче такая неблагодарная, распущенная. А хорватовские девочки видите какие! Вот как надо воспитывать детей. А кто зятя? Ты счастливчик, Геза.

Нет, моя квартира не станет притоном. Не будут ахать и охать ни дворничиха, ни домовый комитет. Здесь будет благопристойное семейное гнездышко: три мои дочери и три зятя — счастливые влюбленные супруги (или сумасшедшие садисты?), ученые, работяги, труженики (или мошенники и воры?).

Детей я никогда не наказывал. Только однажды дал Кати пощечину. Ей тогда было шестнадцать. Она чего-то требовала. Она всегда требовала чего-нибудь: абонемент в театр, проигрыватель, мопед. «Кати, ты пойми, сейчас мы не можем, нет денег. Не будь такой ненасытной. В твоей жизни и так много всего хорошего и красивого». — «Много, конечно, — подтвердила она и скривила рот. — Хорошенькая жизнь, ничего не скажешь, на свою квартиру и надеяться нечего. А чтобы телефон поставили, и то восемнадцать лет ждать нужно».

Теперь у Кати на пальчике обручальное кольцо. На коленях огромный букет гербер.

Рядом длиннющий, в два метра, рыжий парень. Она и не смотрит на меня.

Клянусь, то, что я сделал, не было злой шуткой. Это была последняя надежда, попытка ухватиться за соломинку. В банкетный зал «Золотого барашка» битком набилась родня. Кто откуда, сам черт не разберет. На столе — огромные блюда, на них — жареная баранина, цыплята. Хлопают пробки, громкий смех — говорят сразу человек десять. Усатый старенький почтмейстер, который сидит рядом со мной, в четвертый раз принимается рассказывать, как он купил жене с рук дубленку, но когда отнес ее к скорняку... Интересно, кто мой новый родственник: этот почтмейстер или скорняк? Или дубленка? Кто-то пьяный лезет обниматься и сообщает, что у них во вновь открытом магазине можно по дешевке купить стиральную машину. Пока идет распродажа. Но если мне случайно нужен холодильник или газонокосилка, он и это может устроить, сделав скидку в тридцать процентов, как якобы на стиральную машину — для тебя, папочка!..

Я ищу глазами моих девчушек, пусть они посмотрят на меня. А Илонка все угощает, все ухаживает за гостями, ни минуты не сидит на месте. Толстуха напротив вдруг говорит мне: четыре года — это немалый срок, но хоть это время детки будут счастливы, хотя бы на эти четыре года у них будет крыша над головой.

А там — мало ли что может случиться... А что может случиться? Девочки выиграют в лотерею? Или, работая днем и ночью, всем скопом, вместе с шуринами и друзьями, они слепят какую-нибудь глиняную хибару? Вообще-то за четыре года там, где человека подстерегает столько опасностей, может всякое произойти — несчастный случай, холера, крокодилы, наводнение, тропический тайфун...

Неправда, говорю я себе, мои девочки ни о чем таком не думают, но я сейчас устрою им проверку. Наверное, и я был в легком подпитии, я вообще-то не привык выпивать, да и жарко было. Словом, я все ждал, что дочки сами скажут: папа, не надо, мол, ехать, рисковать жизнью, мол, как-нибудь перебьемся, вы сами тоже так начинали. Или зятя подойдут: папа (или дядя Геза), не подумайте, что мы на вашу квартиру позарились, упаси боже, мы просто любим ваших дочерей. Словом, чего-то в этом роде я ожидал, чего — и сам не знаю. Постучал я ножом по бокалу с вином.

— Давайте, давайте, тещюшка дорогой! — завопил один из гостей, сияя перемазанными жиром щеками. — Мы внимательно вас слушаем.

Стало тихо. Я поднялся с бокалом в руке.

— Дочери мои, сынки, с поездкой получилась небольшая закавыка, — сказал я. — Сегодня утром позвонили из поликлиники. Из

терапии. Какие-то у меня в сердце изменения обнаружили, и потому мне нельзя делать прививку против желтой лихорадки. Словом, не выпускают нас с женой в жаркие страны...

Молчание. Бокалы замерли в воздухе. Гости перестали жевать. Удивленно уставились на меня. А я стоял и ждал. Ждал, когда кто-нибудь спросит, просто подаст голос: «Папа, ты болен? Что у тебя с сердцем?»

Ждал, может, хоть одна из дочерей расплачется: «Что же теперь будет с нами?!» Или кто-то из сватов предложит: «Ладно, так и быть, возьму молодых к себе».

Но стояла тишина. Мертвая. Долгая. И в конце вдруг громовой хохот. Смеялся новый родственничек — краснорожий, с жирными блестящими щеками.

— Батенька мой, подумаешь — закавыка, ну сходишь к другому доктору, а я уж с ним, болваном, предварительно поработаю.

Теперь все загалдели хором: пустяки, этого можно не бояться... У меня шурин (приятель, друг, однополчанин, земляк) в министерстве (в отделе прививок, на выдаче справок), да я скажу (позвоню, распоряжусь)...

Илонка разревелась, когда Балаж приволок к ней на кухню какого-то волосатого, вонючего, наполовину освежеванного зверя. Балаж заме-

чательный инженер-гидростроитель, он шесть лет проработал здесь, и уж если кому и нравилась здешняя жизнь, так это ему. Он охотился, рыбачил, плавал, лазил по деревьям, знал все съедобные растения, фрукты, корни, грибы. Он приносил домой устриц и улиток и щедро одаривал своей добычей всех. На монтажной площадке было электричество и был холодильник, старый шведский аппарат, оставленный здесь нашими предшественниками. Но в холодильнике мы держали в основном кипяченую воду и холодный чай. Мясо можно было покупать только в городе, а в город мы ездили редко. В городе на рынке можно было купить муку, фасоль, крупы (*«Какие чудные вещи можете вы там попробовать, — писал нам один знакомый из Будапешта, — манго, бананы, сизаль!»*). Над этим письмом мы долго смеялись, потому что сизаль — это несъедобное растение, что-то вроде агавы, и из него получают волокно — канаты, веревки. А впрочем, мы смеялись не только над «сизалем»: за четыре года мы так и не узнали, каковы на вкус местные лакомства и как их называют. За четыре года мы так и не привыкли к здешним странным приправам. В городе, правда, был и магазин западного стиля, туда доставляли самолетом из Европы за много тысяч километров импортные продукты — американские консервы с соблазнительными этикетками, датское масло, из Южной

Америки привозили мясные консервы в высоких банках. Все это стоило баснословных денег. А нам нужно было экономить, мы не могли транжирить наши денежки на супертовары, мы не могли есть ветчину, мы не покупали даже щипный порошок и сгущенное молоко. Мы ели супы, какую-то странную зелень и эрзац-мясо, приготовленное из фаршированных овощей. Господи, с каким трудом мы заполучили мясорубку из дому: четырежды писали девочкам, просили их, чтобы отправили посылкой; потом, когда мясорубка, пропутешествовав несколько месяцев, наконец прибыла, я должен был ехать за ней во Фрипорт, а это триста миль на вытряхивающем душу вездеходе и куча денег на уплату пошлины. Тщетно доказывал я чиновнику из таможни, предъявив и официальную бумагу, что, согласно межправительственному соглашению, я имею право беспошлинно ввезти свое кухонное оборудование, а он, ухмыляясь, говорил мне, что либо я уплачу пошлину, либо он отправит мясорубку обратно, тем более что мясорубку можно купить в местном магазине. Я уплатил пошлину. Козье молоко и какой-то подозрительного вида сыр можно было купить и здесь, на монтажной площадке, в соседней туземной деревушке. Илонка кипятила молоко, ванскала сыр и вела беспрестанную борьбу с грязью, насекомыми, микробами. И вдруг заявляется этот Балаж и, улыбаясь во весь рот,

спрашивает, куда свалить его волосатый, вонючий, весь в крови охотничий трофей.

— Господи, да что же это такое? — визжит Илонка. Балаж ее успокаивает:

— Не бойтесь, тетя Илонка. Я научу вас, что можно приготовить из этого зверя. У мяса отличный вкус. В Будапеште, в «Хилтоне», четверть миллиона заломили бы за одну порцию. Найдется у вас хороший большой нож?

Нож нашелся, но недостаточно острый и недостаточно большой.

— Я сейчас, — крикнул Балаж и умчался, оставив чудище лежать посреди кухни.

Илонка, размазывая слезы по лицу, уже прикидывала, чем ей удалить пятна крови с пола — неомагнолем или марганцовкой, — но тут вернулся Балаж с ножом, топориком и ножовкой и принялся со знанием дела рубить, пилить и резать тушу.

— Что это за зверь? — полюбопытствовал я.

— А черт его знает. Но мясо отличное. Слушайте внимательно: сначала его нужно замариновать в уксусе, с солью, горчицей, перцем, растительным маслом. Вот эту часть хорошо отбить и затем два дня кряду тушить в уксусной воде, а вот эту часть лучше, если...

После этого мы десять дней ели подаренную нам Балажем тушу. Мясо было со странным привкусом, с трудом жевалось, но на пятый день мы были уже в восторге от него,

в три десятый — искренне сожалели, что оно кончилось. И когда в следующий раз Балаж вылез с новой добычей, Илонка сама выбежала ему навстречу, и они уже вместе свеживали и разделывали тушу, вместе тушили, варили. Илонка пригласила Балажа на обед, приготовила блинчики с мясом и фруктовой подливкой. Потом мы пили кофе по-турецки и поставили на магнитофон катушку с «Танцами Галанты» Кодаи. Этот день запечатлелся у меня в памяти. В этот день я был счастлив.

Детям мы писали два раза в месяц. О чем? О том, что чувствуем себя хорошо, много работаем (мы — в смысле папа, добавляла Илонка). Когда едим бананы, вспоминаем тебя, Аги, так как знаем, что ты их любишь. Здесь очень жарко, и река высохла. Или наоборот: вот уже несколько дней непрерывно льют дожди и все вокруг превратилось в одно большое болото, очень много moskitov. Берегите себя, целуем горло всех, папа, мама. Постскриптум: пришлите пару книг, любых. Целуем.

Но о том, что тут влажность девяносто пять и мы, как рыбы, разеваем рот — не хватает воздуха, мы не писали. И о том, что за ночь успевают покрыться плесенью обувь в шкафу, что в жару мы не можем освежить изнывающее от зноя тело в реке, потому что вода в ней мутная,

затхлая и кишит крокодилами, и «живым волосом», и всякими иными червями, и миллионом разных возбудителей кожных болезней. Взлетное поле аэродрома иногда заносит песком — во время песчаных бурь, — и тогда не приходит почта, а то вдруг исчезает вода в реке, то пилот с грузом запасных частей застревает на огромных кронах деревьев, другой раз земляная дамба раскиснет так, что и вездеходу не пробраться, да и вообще здесь много загадочного и непонятного: смиренные с виду горы на поверку оказываются действующими вулканами, извергающими из своих кратеров огонь и пепел, землю сотрясают подземные толчки, джунгли вспыхивают от одной молнии, травы вдруг принимаются расти прямо в доме, выползая из-под половиц. Мы, конечно, не писали детям о ночных страхах, о гиенах, воющих в темноте, о стадах горластых обезьян, совершающих набег на наш огород, о мирных селах, в которых вдруг начинают греметь барабаны, потому что взбунтовалось племя, и наемные рабочие, не сказав нам ни слова, бросают работу и обращаются в бегство, подчиняясь неведомому нам приказу племени.

Иногда мне самому начинало казаться, что Восьмая монтажная заколдована, проклята. Буря сорвала провода высоковольтной линии, вездеходы застревали в глине, на склоне холма образовался оползень. Я созывал бригадиров,

хотел посоветоваться и принять какие-то срочные меры.

— Ты опять уходишь? — всплескивала руками Илонка. — Будь осторожен, Геза.

И я трясся на вездеходе, рискуя перевернуться, уходил из каменного дома, из-под противомоскитной сетки, из относительной защищенности от эпидемий, уходил туда, где рождался провода электропередачи, к загадочным скамьям, в их хижины. Монтажные работы, которыми мы занимались, были лишь частью гранитского строительства мощной гидроэлектростанции, высоковольтной линии электропередачи.

— Это вам самим нужно, для вас. И нужно срочно! Переведите, — кричал я переводчику. — Почему вы то и дело забираете своих рабочих у наших специалистов? Зачем вы разрушили уже установленные бетонные опоры?

— Это не так делается, — сказал Балаж, когда после четырехдневной изнурительной посадки я вернулся на монтажную площадку. —

Если что-то не в порядке, ты посылаешь докладную в Будапешт. А там уж министерство примет меры, смешанная комиссия обсудит, вынесет решение, уведомит о нарушении договора соответствующее здешнее министерство, комиссия на месте расследует...

— Да ты с ума сошел! Тогда ни плотины, ни гидростанции, ни турбины и вообще ничего

не будет здесь сделано, установлено, построено во веки веков.

— Верно, — согласился Балаж. — Только не хочешь ли ты сказать, что приехал сюда строить социализм? Ты здесь, дорогой друг, для того, чтобы заработать себе денег. Как можно больше! Разве нет?

Илонка, неужели это мы? Те самые, что в двадцать лет, оборванные, голодные, долбили кирками землю на строительстве железнодорожного моста? Те, что строили техникум, работали бесплатно, по ночам учились, а в день Первого мая шли на демонстрацию с букетами сирени, и красные стяги развевались над нами на светлом ветру? Алчные, обезумевшие гарпагоны и гобсеки — это мы? Это мы по вечерам, сев рядышком, подсчитываем, сколько долларов скопилось у нас на счете в банке Фрипорта, и прикидываем, не лучше ли вклады в долларах перевести в швейцарские франки, потому что франк есть франк? Неужели это мы — те, кто не дружит ни с кем в колонии, ни с семьей французского инженера, ни с монтажниками из Швеции, потому что видим, как они приезжают из Фрипорта, привозя оттуда замечательные куски говядины, красиво, аккуратно завернутые в целлофан, яблоки, упакованные — каждое в отдельности — в шелковистую бумагу, нор-

важную красную икру, мороженую вишню и французское шампанское? Разве мы вправе принять от них приглашение на ужин, зная, что не сможем ответить им тем же? Не говоря уж о том, что и французский инженер, и швед-монтажник, и венгерские крановщики, шоферы, инженер-электрик и приборист — все они на тридцать лет моложе нас и зовут нас дядей Геной и тетей Илонкой. В общежитии венгерских монтажников, в длинном бетонном бараке, одни только холостяки, которые устраивают грандиозные попойки (мешают пиво с какой-то газостью) и карточные сражения в «ульти». Но я не люблю карты и ни разу не ходил к ребятам уже по той причине, чтобы не оставлять Илонку одну. С наступлением темноты мы забирались под москитные сетки и пытались поймать через реки, пустыни и джунгли заплутавшуюся радиоволну или писали письма девочкам, будапештским друзьям и брату Фредди в Янгстаун, в штат Огайо, чем-то напоминая потерпевших кораблекрушение, бросающих в море бутылки с записками.

«...Очень рады, что вы собираетесь в отпуск, только где вы будете жить?»

Мы с удивлением разглядывали письмо, написанное рукой Кати. Как это где? В нашей спальне, в столовой и в передней. И только тог-

да до нас дошло: господи, как же это? В трех комнатах уже живут они, наши дети, три семьи. Мебель разделили, поменяли местами, может, даже свалили где-нибудь в кучу, на книжной полке теперь цветочная ваза или кипяtilьник и кофейные чашки. Стены наверняка размалеваны. Я и раньше сколько раз ругал Аги, когда она принялась таскать домой немыслимые плакаты, украденные таблички с названием улиц, магазинные вывески, старые утюги, керосиновые лампы, конские подковы. И наверняка сейчас три магнитофона рычат одновременно в каждой из трех комнат, и три телевизора, и три транзистора, а если выстиранное белье не умещается в ванной, тогда бельевой шнур протянули через всю комнату, и на нем уже висят блузки, носки, трусики. Конечно, этот вопрос они не должны были задавать нам в письме, а должны были все вместе собраться — три дочери и три зятя — и обсудить, кому из них на месяц переселиться к подруге, в гостиницу, на дачу или куда-нибудь там еще! Нельзя же писать родителям: где вы собираетесь жить во время отпуска, в квартире для вас места нет. Конечно, и для них все это непросто: получить от нас вдруг такое письмо. Они ведь тоже работают, куда они переедут, к кому? То есть как это «вдруг»? Мы уже давно собирались в отпуск летом, и еще задолго до нашего письма девочки должны были бы спросить у нас: каковы

ваши планы на отпуск, не тоскуете ли вы, папа и мама, по дому, что вы надумали, как решили? Но девочки пишут редко, о себе — почти ничего. *У нас все нормально, живы, здоровы, целуем, отправили почтой бутылку неомагноля — для дезинфекции посуды. Собираемся послать книги, да все не было времени. Но, честное слово, в ближайшие дни вышлем Целуем*». Приписка от Юдит: *«Петер шлет привет»* — и от Аги: *«Лали целует ручку и обнимает»*. Муж Кати соблаговолил собственноручно *«С уважением — Пишта»*. Это хорошо, хоть внушу наконец, как зовут зятьев. Письмо успокаивает: значит, еще не разбежались молодостью.

Неомагноль мы постоянно просим прислать, расходует его ведрами. В одной из посылок с неомагнолем оказалась маленькая картошечка с нарисованным на ней зайцем. Когда девочки были маленькими, Агику звали Зайчишкой. Илонка, обнаружив рисунок, расплакалась. Я убрал зайчишку в бумажник и, когда отправлялся на вездеходе по непроезжим дорогам инспектировать монтаж, часто доставал рисунок и, положив на ладонь, подолгу любовался им.

— Катансм в Париж? — предложил я Илонке. Идея куда-то съездить родилась внезапно. Какие мы дураки, что до сих пор до это-

го не додумались. И почему обязательно проводить отпуск дома? Завтра мне все равно ехать во Фрипорт: привезу оттуда ворох проспектов из какого-нибудь бюро путешествий. А уж если будем в Париже, заскочим на денек-другой и в Лондон.

— Хорошо, — согласилась Илонка и погладила мою руку.

Во Фрипорте у меня были дела в морской гавани, там выгружались гигантские турбины, и мне нужно было договориться с транспортниками, куда они смогут доставить груз по воде, а куда — трейлерами, где можно проехать по каменной плотине, где по временному мосту. Потом я был в банке, на почте, во фрипортском управлении департамента строительства. По ходу дела заглянул и в ближайшее бюро путешествий и набил портфель цветными брошюрками и проспектами. Случайно там же оказался мой сосед, шведский монтажник.

— Собираетесь в путешествие? — приветливо спросил он. — А я вот тоже жду, когда подъедет жена, чтобы вместе решить, не поехать ли нам на Канарские острова или перемахнуть через океан в Австралию или на острова Фиджи...

У меня была еще бездна времени до возвращения на объект, потому что вездеход сломался и в мастерской пообещали его починить часа за два — за три. Так что я прогулялся по пальмо-

ний далее между портом и пляжами, где слонялось множество белых. Бизнесмены, эксперты из Европы, охотники, туристы. Мне вдруг захотелось знать, где же мы живем. Конечно, я знал континент, географические долготу и широту страны пребывания, только существенного, главного об этой стране не знал: о чем думают женщины этих устремленных на меня глаз, что выражают их озабоченные лица, я не угадывал в плавных движениях их женщин, несущих на голове корзину или кувшин, отголоски древних ритуальных танцев или обряда, с помощью которого изгоняли злого духа, и что там в книгах молодых людей, идущих навстречу с портфелями, о чем мечтают молодые женщины с детскими за спиной, не понял сути этой страны, еще и они никогда не узнают, что это я работал здесь у них, на Восьмой монтажной, они даже не будут знать, что была такая Восьмая монтажная, и только однажды в саванне, поросшей вустарником, в маленьких деревушках, затерянных в джунглях, вдруг вспыхнет электрический свет и загудят заводы, и, я надеюсь, люди будут этому рады.

За аллеей начинался базар: лабиринт темных и узких улочек, пахнущих поджаренными орехами, лепешками, маслом какао, кокосовым соком и тысячью тяжелых запахов всевозможных пряностей. Выкрики и музыка, людская толчея, пестрые одежды, тюрбаны, украшения

из перьев и звериных шкур, женщины в восточных сандалиях и паранджах, голые ребятишки. В узких закоулках базара сотни ремесленников прямо на земле со своим инструментом, торговцы лимонадом, бараньи или какие-то еще туши, жарившиеся на вертеле. Прежде я никогда не ел и не пил в таких местах, но сейчас, усталый, присел на веранде крошечного сказочного кафе, сделал знак: желаю, мол, кофе. Разложил на столике перед собой пестрые проспекты: *Летайте самолетами компании КЛМ. Посетите Японию. Вас приглашают прохладные воды Скандинавии. Полюбуйтесь Ниагарой. Попробуйте счастья в Монте-Карло. Ночь в Куала-Лумпуре. Танцовщицы в Бали. Гавайи.* О, голубые Гавайи! Я оторвал взгляд от проспектов, только когда морщинистая, старая рука поставила на мой столик круглый медный поднос, а на нем — в медном кофейнике — kloкочущий кофе, на доньшке фарфоровой чашки серебряный полумесяц, в крохотном стакане — свежая вода с искрящимся кусочком льда (упаси бог выпить!) и сладкий, как мед, лукум, наколотый на тоненькую палочку. Я смотрю снизу вверх на обладателя тысячи морщин, и лицо мужчины, иссеченное морщинами, его глаза, тюрбан кажутся мне знакомыми. Да ведь это он мне обычно снится, он и есть тот самый турок, который всегда напоминает мне, что время проходит. Старик печально улыбается, словно он узнал меня. Проспект с приглаше-

всем на голубые Гавайи соскальзывает на пол. И даже и с Фрипортом не познакомился как гадушет, ушло мое время. Мне вдруг вспоминается бабушка. Она была уже очень старой. (Очень? Сколько ей тогда было? Семьдесят? Шестьдесят?) Она работала с утра до ночи, летом, бывало, целыми днями заготавливала на зиму компоты из яблок и абрикосовое варенье, сушила груши и сливы, консервировала помидоры и огурцы, делала тархоню¹, коптила мясо и раздавала это своим детям и внукам и постоянно причитала: «Что с вами будет, когда меня не станет?» Каждое поколение считает, что мир держится на нем и важно только то, что оно считает важным. «Разве я просила вас родить меня? — однажды гневно выкрикнула нам Кати. — Мне вы этим оказали не бог весть какую услугу». Мои дочери пришли на все готовое. Ну а мы? Разве мы должны жить так, как мы живем — лишая себя куска мяса, отказываясь от поездки в отпуск, и делаем ли мы для них добро, поступая так? Может, было бы лучше, если бы мы попросту сказали: каждое поколение само должно бороться за свое счастье как умест.

Возвращаясь к порту, я остановился на минутку перед маленькой лавкой чеканщика по серебру. Дивные вещи были разложены у него

¹ Домашняя лапша.

на прилавке: амулеты необычной формы, цепочки, браслеты. Один тоненький браслетик мне особенно пришелся по вкусу, будто две буквы "s" сцеплены между собой. Я еще никогда не покупал Илонке украшений. Странно. За тридцать лет супружества — ни разу. Только обручальное кольцо надел на палец — и все.

К утру мы вернулись на монтажную площадку. По Илонкиным глазам я понял, что эту ночь она не спала. Я достал завернутый в шелковистую бумагу браслет и надел его ей на запястье.

— Какая прелесть!

Она обняла меня, поцеловала, потом принялась вертеть в руках чудо ювелирного мастерства.

— Просто прелесть! — повторяла она. — Ты знаешь, мы его подарим первой нашей внучке.

В те совершенно отчаянные годы, когда отец не мог найти себе никакой работы, зашел какой-то разговор о тете Бетти и ее семействе. «Напишу-ка я Эржике, — сказала мать. — Может, пришлет нам хоть пару долларов. Когда они с Ферко и Андрашем бедствовали, мы их не раз выручали...» — «Не надо, не пиши, — покачал головой отец. — Если бы у них были деньги, они и сами прислали бы. Она же тебе так и сказала». Конечно, она сказала это, когда проща-

вместе с нами, что стократ отблагодарит сестру и шурина и за материю на пальто, и за цепочку, и за доброту. «Если у них есть деньги, они приходят. А если нет, им только еще тяжелее станет от того, что бедны, и от того, что нам не могут помочь».

Но мы так и не узнали никогда, что стало с тетей Эржи и ее семьей: когда родились у нее девочки-двойняшки, когда умер дядя Билл, говорили ли они по-венгерски? Не собираются ли вернуться назад, на родину отцов? Или хотя бы в гости приехать? О смерти Андраша (Эндрю) они сообщили уже после войны в открытке, посланной через Красный Крест. И потом изредка нет-нет да и присылали открытки: живем, мол, растут девочки, внучки.

Мы и сами не надеялись, что от Фреда придет ответное письмо. Да еще какое. На нескольких страницах, сердечное, дружеское, словно мы вчера только и расстались. Разумеется, он не сердится, что мы так редко пишем, ведь он и сам не любитель писать, куда проще — снял трубку, поговорил, а еще проще — сел в самолет, и вот уже можешь обнять своего двоюродного братца. Это же великолепно! Кем ты стал, Года? Генеральным директором, министром или хозяином рудника? Но все равно, хорошо бы, если бы вы выбрали к нам на уик-энд, да что там уик-энд, на три-четыре недели! Словом, садитесь в самолет, Барбара, моя жена, бу-

дет в восторге, она уже приготовила к вашему приезду комнату. Или вы хотите спальни с отдельными ваннами? А Илонка любит орхидеи? Или лучше поставить ей в комнату цветущую ветку апельсинового дерева? Прилетайте с первым же самолетом, будете жить здесь по-королевски, у нас свой бассейн и теннисный корт, а ребят уже нет дома. Джой два года назад вышла замуж, сейчас живет и работает в штате Айова; Джеффри преподает право в Сент-Джонском университете в Калифорнии, у него уже вышло четыре книги; Поль, наш младшенький, в этом году станет доктором, сейчас живет в общежитии при колледже в Беркли; но дом мы все равно не продаем, и каждого из ребят ждут их прежние комнаты, чтобы дети могли вернуться домой всегда, когда пожелают, так что у нас комнат для гостей сколько угодно, и можете оставаться у нас, пока мы вам не надоедим, на это время предоставим вам в пользование «мерседес» Барбары или же все вместе махнем к Ниагарскому водопаду — это от нас в двух шагах. Или слетаем на Багамские острова, ты знаешь, Геза, что там за женщины!!! Забросим бизнес на три недели, только приезжайте, мы так хотим вас видеть...

Мы перечитывали это письмо раз десять. А что, если в самом деле? В следующий раз поинтересуюсь во Фрипорте в конторе авиакомпании насчет цен на билеты. Ты знаешь,

Илонка, что это у нас с тобой будет? Свадебное путешествие! Мы ведь так никуда с тобой и не съездили: ни в Шопрон, ни в Матрафюред. На свадьбу поехали в Леаньфалу, искупались в Дунае — вот и все.

Бабаж опять приволок какого-то наполовину обезьянванного козла, а может, носорога или антилопу.

— Растяните надолго, тетя Илонка, потому что какое-то время я не смогу охотиться.

— В отпуск уезжаешь? — спросил я его. — На сколько? Когда?

— Это немножко и от тебя будет зависеть, дядя Геза.

— От меня?

— Ну да.

Об очередности ухода в отпуск мы договаривались в здешнем филиале нашей фирмы, во Фрипорте. Инженеры и снабженцы проходили по разным ведомствам. Я возглавлял группу, поставляющую оборудование. Запасные части, транспорт, организация поставок — это все моя сфера.

— Словом, я, дядя Геза, имел в виду этакий «свободный» отпуск. Мне бы эти три недели в самую пору пришлось — поохотиться. А вам весьма кстати — денежки.

— Какие еще денежки?

— Я бы отдал вам ползарплаты за эти три недели.

— Да ты с ума сошел. И как бы я справлялся с твоей работой?

— А никак. Пока не спадет вода после наводнения и пока не высохнет ил и не исчезнут полчища москитов, ни одна живая душа работать на шлюзы не выйдет. Ты только будешь расписываться за меня в журнале — и все. Как ты не можешь их закорючки разбирать, так и они наши с тобой подписи не отличают.

— Это ты всерьез?

— А что? Все так делают. Эх, когда Корпонай тут был...

— Так вот, об этом не может быть и речи, — отрезал я. — Илонка, будем мы сегодня ужинать? Разговор этот потому еще беспредметен, что в следующем месяце мы сами уедем в отпуск.

— Я этого не знал. В Будапешт поедете?

— Нет. Еще не решили. Покажи, Илонка.

Жена сгребла со стола груды проспектов из бюро путешествий вместе с письмом Фреда. У нас был один стол на все случаи жизни — кухонный стол посередине комнаты. Если его накрывали привезенной из дому вышитой скатертью — это была наша гостиная, если стол накрывали цветной клеенкой — столовая, если на нем я раскрывал две папки, наш стол превращался в письменный.

— Вот выбираем из этого вороха, куда поехать. Но, скорее всего, слетаем к моему двоюродному брату в Америку.

— А разрешение уже получили?

— Какое разрешение? У меня же отпуск.

— Правильно. Домой, на родину, можете. А если куда-то еще, то нужно запросить разрешение, оформить заграничный паспорт.

— Паспорт при мне. Постоянный, на пять лет.

— Но действителен он, только если есть отдельное разрешение. Дядя Геза, ты этого в самом деле не знал или просто разыгрываешь меня?

Теперь я начал припоминать. Да, говорили про какие-то там ограничения. Но как же так? Мне пятьдесят восемь лет, я на другом конце света, денег у меня на билеты хватит, всю жизнь и работал как вол, решил наконец отдохнуть так, как мне хочется, и, оказывается, нужно добывать еще какие-то разрешения...

— Ну ладно, Геза, успокойся,— испуганно сказала Илонка.— Идите ужинать. Сегодня у нас отличное тушеное мясо с овощами. По рецепту соседки-шведки.

— Но если вы все же надумаете,— сказал Балаж,— за три недели я могу заплатить вам триста долларов. Хотите в марках, хотите в швейцарских франках, в какой угодно валюте. И ни одна собака не докопается.

Проще пареной репы. Dear ¹ Фред, мы были на седьмом небе, получив твое письмо. Но сейчас я здесь так необходим, что не смогу к вам поехать. Может быть, в будущем году... Ну а в этом — с удовольствием встретились бы с тобой здесь, у нас... Так мы и напишем Фреду...

Мы лежали на нашей довольно неудобной кровати, потные, задыхаясь от духоты под пологом от комарья. Обняв Илонку, я размышлял вслух, что мы напишем Фреду. Здесь нет ни кондиционера, ни бассейна, ни теннисного корта, но зато есть многое другое: если шведы, наши соседи, уедут в отпуск, они, может быть, предоставят на несколько дней в наше распоряжение одну комнату в своей квартире, и мы с тобой будем совершать прогулки на вездеходе, съездим на два денька на сафари или покупаться в море, в конце концов, важно что? Что мы с тобой встретимся, мама всегда настаивала, когда еще мальчишкой был: Геза, учи английский, когда-нибудь тетя Эржи пригласит тебя в гости и вы будете с Фредом обо всем разговаривать. Хорошо, одобрила Илонка, очень хорошо, пригласим Фреда, а я основательно приберусь в квартире.

¹ Дорогой (англ.).

— Илонка, скорее, катер идет! Да брось ты, черт побери, эту проклятую уборку. Ну какая разница, останутся в этом доме после нас две лишние пылинки или нет?

Но Илонка помешана на уборке. Даже в Будапеште, когда девочки уехали в свадебное путешествие и у нас оставалось каких-то две недели до отъезда, а нужно было еще упаковать большие кофры, чтобы отправить их морем, сходить в таможню, собрать всякие документы, разрешения, справки и я носился из одного ведомства в другое, Илонка убиралась, хотя у нее болела и опухла от прививок рука, — она драила паркет, мыла двери и люстру, выстирала шторы, рубленой капустой или еще чем-то чистила ковры, гладила белье и работала, работала до упаду. Из хозяйственного магазина сумками таскала чудодейственные стиральные порошки и пасты, «блеск» для мытья ванны и еще что-то.

— Зачем ты это делаешь?

— Не начинать же им жизнь в грязи, — смиренно отвечала она. — Они вернуться, а тут все чистенько. Да и мы с тобой уезжаем. Мама всегда говорила: только мертвый после себя не убирает.

А сколько ей пришлось убирать по приезде сюда, боже правый! Бесконечные дезинфекции, кипячение, посыпание обезжиривающими порошками и опрыскивания, какую титаниче-

скую борьбу вела она тут с плесенью, и сыростью, и неизвестно откуда появлявшимися жуками, молью, пресмыкающимися. Даже теперь, когда мы окончательно уезжаем отсюда, когда мы все уже раздарили, отдали соседям печку для поджаривания отбивных, и мясорубку, и кувшин на десять литров — в нем мы кипяченую воду держали, — шкафчик с медикаментами, в котором всегда наготове шприцы и ампулы с препаратами против столбняка, укуса змей, бешеных собак, средства против малярии и холеры. Нам все это уже не понадобится. Уезжаем. К счастью, миновали нас все эти напасти. Надеюсь, что миновали. И, упакованные, уже стоят строем чемоданы. Ждем прихода катера, который перевезет нас через реку, а там на нашем вездеходе мы совершим свою последнюю поездку во Фрипорт, на аэродром, сядем в самолет, и если не налетит самум, песчаная буря или не помешает еще что-нибудь... Сейчас нам надо бы вместе попрощаться с этим вот утром, с самым большим приключением в нашей жизни, с которым было связано столько надежд, но я тщетно зову Илонку, она ходит по квартире с тряпкой и вытирает от пыли убогую мебель, чтобы те, кто приедет после нас...

- Да иди же, Илонка, брось ты все это к...
- Иду, только что мне с этим делать?
- С чем с «этим»?

Илонка приносит сумку, набитую какими-то бумагами.

— Это было в ящике стола.

Я заглядываю в сумку. Просматриваю бумаги. Счета, счета. За гостиницу «Холидей-инн» во Фрипорте. За обед и выпивку в ресторане. За прокат автомобиля.

— Ладно, брось их в печку.

В ответ на наше письмо пришла телеграмма: *«Приезжаю в воскресенье, Фред»*. Поспешность Фреда несколько нас озадачила. Шведы еще не успели, и, кстати, я с ними даже еще и не говорил о комнате. Отпуск я мог взять самое большое на четыре дня. Посмеялись мы с Илонкой, поехали — вот это действительно американские темпы: сел и поехал — вот так надо жить! Конечно, лучше, если бы он прежде спросил нас, когда нам будет удобнее принять его, но, в конце концов, мы ведь пригласили его, хотя, как обычно, не могли решить, когда нам удобнее — на этой неделе или на следующей. А раз мы все равно поедем встречать его во Фрипорт, то возьмем в виде исключения какого-нибудь приличного мяса в торговом центре западного образца; до сих пор мы, правда, ни разу не брали денег со своего счета в банке, но подумаешь, несколько швейцарских франков — не обеднем.

В субботу мы поехали во Фрипорт. «Поехали» — здорово звучит. Фрипорт — это триста миль, и все с приключениями. Илонка редко бывает там, пусть и она хоть одним глазом посмотрит на мир. На одну ночь взяли номер в «Холидей-инн», лучше отдыха и не придумаешь. Номер с ванной комнатой, отделанной светло-зеленой плиткой, на ванне и унитазе полоски бумаги с напечатанными надписями: “Desinfected for your protection”¹. В ванне можно спокойно погрузиться в теплую воду по шею, вода чистая — пей хоть прямо из-под крана, на ужин можете заказать жареного цыпленка с банановым пюре. Здесь можно жить: садись в кресле на террасе и разглядывай улицу внизу, бегущих по ней босоногих грузовых рикш, сторбленного нищего или выпрашивающего глоток воды прокаженного на краю тротуара. А надоест — можешь пойти в свою комнату с кондиционером и посмотреть по цветному телевизору матч в бейсбол.

Фред прилетел после полудня. Мы знали друг друга только по фотографиям. С самолета, прибывшего рейсом из Франкфурта, сошло много пассажиров, но Фреда ни с кем не спутаешь. Удивило меня еще, что хотя он лет на восемь старше меня, но выглядел он как мой

¹ Продезинфицировано для вашей безопасности (англ.).

младший брат. Высокий, пружинистая походка, ни единого седого волоска, изумительно белый костюм, эlegantные чемоданы. Мы обшлись, разглядывали друг друга, я вспомнил мать и миллион раз помянутую тетю Бетти. Да, если бы покойница мама и ее сестра могли видеть, где их дети обнимут друг друга! Мама первым делом посмотрела бы, похожи ли мы. Может, вздохнула бы: да, ничего не скажешь — одна кровь! Но Илонка спросила Фреда:

— Ты наверняка проголодался! — и вернул нас на землю.

— Ничего, вместе поужинаем, — ответил Фред. — Я заказал номер в «Хилтоне».

Я смущенно промолчал, ведь я предполагал, что мы все переночуем в «Холидей-инн», и даже и представить не мог, во что обойдется «Хилтон». Ну да ладно, одна ночь, куда ни шло... Между прочим, вездеход ждал нас на аэродроме. Но для Фреда подали «бьюик»: он еще из Нью-Йорка заказал себе машину.

— Зачем, — буркнул я, — на монтажную площадку все равно никаким иным транспортом не добраться — только на вездеходе и пароме.

— Ладно, не имеет значения, подумаешь, пара долларов. — Фред пожал плечами. — Вот этот большой чемодан, Геза, сразу положи к себе. В нем подарки для вас.

Два с половиной дня мы пробыли в «Хилтоне», но платить надо было за полные три дня. Нам с Илонкой тоже пришлось перебраться в «Хилтон».

— Неужели ты собираешься жить в каком-то «Холидей-инн»? — поразился Фред. — Ведь ты директор или министр, не знаю, кто уж там...

А когда я запротестовал и начал объяснять ему, что я всего-навсего представитель фирмы, ответственный за поставки, он сказал:

— Скромничаешь. Если человек хочет сделать карьеру и знает себе цену, то он живет на ступень выше, а не на пять ступеней ниже, чем ему положено. Это, между прочим, один из секретов успеха его бизнеса. Он никогда не полетит туристским классом, лишь бы подешевле. Он совсем по-другому себя чувствует, когда спускается с самолета по специальному трапу для VIP¹.

«Хилтон» был великолепен, подарки Фреда — умопомрачительны: для Илонки броши с рубином и топазом, мне целый вагон сорочек из шелкового полотна, золотые запонки и закладка для галстука, радиоманитола, кинокамера, «паркер» с золотым пером.

— Ты с ума сошел, Фред!

¹ Very important persons (англ.) — особо важные лица.

— Пустяки! — смеется Фред. У него беззубые зубы. — Подумаешь, пара долларов. Главное — это успех и молодость, правда, невестка?

И, пораженный, глядел на Илонку — как она помолодела рядом с Фредом. Фред включил магнитофон. «Strangers in the night», «I left my heart in San-Francisco»¹.

— Идем танцевать, Илонка!

Мы с ней никогда не танцевали, я считал себя неуклюжим медведем. Илонка тоже не любила танцевать, а тут вижу, она так и прильнула к Фреду, словно в забытии или захмелела. И они, обнявшись, помолодевшие, закружились в килтоновском салоне, огромном, как танцевальный зал, в опьяняющем аромате орхидей и цветущих апельсиновых деревьев, льющемся через открытую балконную дверь.

Когда сели ужинать, Фред первым взял переплетенное в кожу ресторанный меню. На закуску: ветчина с дыней и жареная телятина с салатами и помидорами по-провансальски; несколько сортов сыра и разные сладости, кремы, мороженое, портвейны и шотландское виски.

— Я собираюсь заключить серьезные кон-

¹ «Путники в ночи», «Мое сердце осталось в Сан-Франциско» — лирические песни американских авторов, популярные в 50—60-е годы.

тракты, — сказал Фред. — Привезу с собой из Штатов двести-триста рабочих. Беру и тебя тоже в долю. Кстати, я знаю одно венгерское слово, — заметил он под конец. — Честно. Покойная мама меня научила: «Тряп-ка».

В понедельник я впервые снял со своего счета во фрипортском банке деньги. А во вторник после полудня мы должны были выехать на монтажную площадку. Счет в «Холидей-инн» был довольно большим. Сколько же это будет стоить в «Хилтоне»? Мы вместе с Фредом подошли к стоявшему за стойкой портье.

— Я еще не поменял чеки, — сказал мне Фред. — Ты сможешь за меня уплатить эту мелочишку?

— Конечно, — покраснев, сказал я. — Разумеется.

Я взял в руки счет и едва удержался на ногах. Уже одни цены за комнаты были умопомрачительными. Но в счете стояло и еще кое-что помимо того, что мы заказывали.

— Фредди, тут все правильно? — спросил я. В счете значились два обеда и два ужина, а также два телефонных разговора с Мадридом, один со Стокгольмом и один с Нью-Йорком. И спиртное, спиртное — без конца. Четыре бутылки виски, французские вина, бутылка «Наполеона».

Фред величественно кивнул мне:

— Все в порядке, набрось процентов двенадцать на чай.

Пока мы добрались до монтажной, Фред постарел. По дороге он несколько раз спрашивал, где бы чего-нибудь выпить. Илонка с готовностью предлагала — есть целых два термоса: один с кофе, другой с лимонадом. Фред только осклабился в ответ: выпить, невестушка, «выпить», а не «попить». Но виски у нас не было, ни с собой, ни даже дома. В доме мы держали граммов двести бренди — на случай, если голова разболится или живот. А так мы спиртное не употребляли.

Трехэтажные бетонные кубы на нашей монтажной площадке неприятно поразили Фреда. Это ваши дворцы? Из наших двух комнат большую мы уступили гостю. Сами забрались в тесную нишу-альков. Я обежал соседей, выпрашивал, у кого что было из спиртного. Возвратился с начатой бутылкой рома и бутылкой коньяку. Здесь со спиртным туго. В единственной столовой подают только пиво. Монтаж — ответственное и опасное дело, официально водку сюда мы запрещаем привозить, в туземной деревне можно достать какую-нибудь хмельную бурду.

Когда я вернулся, Фред уже распаковывал

свои вещи, разложил по комнате костюмы. На книжной полке, сколоченной мною из старых ящичков, расставил, оказывается, имевшиеся у него в чемодане непечатые бутылки с джином и виски — запас, которого мне хватило бы по меньшей мере лет на шестьдесят.

Фред пил из стакана что-то спиртное и глотал цветные пилюльки.

— Что это ты принимаешь? — пораженный, спросил я.

— Так, ничего. Голова разболелась.

Илонка, расстроенная, стряпала что-то на кухне.

— Где будем есть?

Но Фреду было не до ужина. Он сидел грустный, магнитофон не включал, только наливал себе стакан за стаканом.

— Есть здесь какой-нибудь бар? Увеселительные места? Шоу?

— Нет.

— Даже телевизора у вас нет?

— Тут ни одной станции не поймаете. Горы вокруг!

— И какого же черта вы тут делаете?

— Работаем. Ты устал, ложись отдохни. Завтра я все тебе покажу. И на два дня съездим на сафари или к морю.

Наутро Фред попросил только крепкого черного кофе, потом он снова принимал лекарство и снова пил. Когда мы уселись в вездеход,

он был уже изрядно пьян. Я свозил его к строящейся плотине, к водохранилищу, к гидростанции, показал протянувшуюся далеко-далеко, в горизонту, вереницу серебристых мачт высоковольтной линии.

— Капиталовложения на много сотен миллионов долларов, — пояснил я ему.

— А сколько ты здесь зарабатываешь? — спросил он. — Тысяч восемьдесят-сто в год?

Я рассмеялся:

— Шутишь? Даже десятой доли этого не получается.

Фред оживился:

— Так для чего тебе здесь торчать? Едем со мной. Вступай компаньоном в мою фирму. Сделаем большой бизнес. Наберем здесь рабочих. Знаешь, чем я занимаюсь?

Мы вошли в рабочую столовую. Там сидели несколько шоферов; трое монтажников из второй, послеобеденной смены. Все уважительно поздоровались со мной. Это произвело впечатление на Фреда. Нам подали кофе. Фред снова завел давешний разговор:

— Беру тебя в компаньоны. Слышал ты что-нибудь о wormbusiness¹? Так вот слушай, братишка. Был у меня один садовник-негр, еще давно. Траву подстригал в саду. Как-то рано

¹ Бизнес на червях (англ.).

утром просыпаюсь — я, знаешь, плохо сплю, потому и принимаю всякую дрянь, — и вдруг вижу, мой Джимми копается в саду. Ползает по земле, рядом с ним ведро. «Эй, Джим, — спрашиваю, — что ты там делаешь?» Джим испугался. «Ничего плохого, хозяин, — говорит, — только червяков собираю». Оказывается, он червей для наживки собирает. Их можно продавать в лавку рыболовных принадлежностей. Десять тысяч штук — десять долларов. А кто там их считает. Берут на вес. Наберешь пожирнее червяков — твое счастье. «И сколько же ты их за ночь собираешь?» — «По-разному, хозяин. После дождя они так и лезут из земли. А я, — говорит, — хозяин, если много денег накоплю, буду арендовать площадку для гольфа, найму десять рабочих, они у меня с вечера до полуночи будут площадку поливать, а утром можно и червей собирать. Богатым человеком, — говорит, — стану». Ну, наутро я уже арендовал в округе десять гольфовых площадок, заключил договор на пять лет. Нанял рабочих, грузовик. Если ты помнишь из географии, наша местность — это район Великих озер: Верхнее, Мичиган, Эри, Онтарио, Гурон. Это же американский рай для рыболовов. Каждое утро поставляю одной кливлендской фирме рыболовных снастей свою добычу, а денежки текут в мою кассу. Но одному мне, Геза, это уже не под силу.

— У тебя же взрослые дети. Могли бы помочь. Или Барбара.

— Здесь в самом деле нет ничего спиртного!

— Пиво могут подать.

— А-а...

— Я возьму на два дня отпуск. Поедем в горы.

— Нет. Навряд ли. Не могу я больше задерживаться. Видишь, каково приходится, когда один ведешь дело. Надо ехать.

— А мы надеялись, что ты недельки две-три пробудешь у нас.

— Ну что ты! — раздраженно отмахнулся он.

— Может, мы его чем обидели? — шепотом спросила Илонка, когда мы ночью забрались с ней под сетку от mosкитов.

— Не знаю. Не думаю. Я сам не понимаю...

Наутро я отвез Фреда во Фрипорт. Здесь на монтажной я научился водить машину. Тяжело это мне далось. Шоферы намучились со мной. Несколько месяцев я каждое утро на рассвете тренировался два часа в вождении машины, без этого здесь пропадешь... Но в город всегда ездил еще с кем-нибудь, кто тоже мог водить машину. Но теперь пришлось везти Фреда. Фред снова злился:

— Ползешь, как вошь. — Потом смягчился,

постарался загладить: — Не сердись, я, видишь, нервничаю. Послушай, Геза, сколько ты можешь одолжить мне?

Мы ехали по дамбе, подъезжали к парому. Я от изумления чуть не вывернул руль, и мы едва не свалились в реку.

— Что? Чего одолжить?

— Денег. Сколько сможешь. Мы же братья. Ты обязан мне помочь. В конце концов, мать моя всегда посылала вам доллары.

Дамба была глинистая, мокрая, скользкая, мне нужно было сосредоточить все внимание на дороге. Смысл его слов дошел до меня только через две-три секунды.

— Ты что, не хочешь мне помочь? Я же взаймы у тебя прошу. Или если вступишь в мою фирму компаньоном... у меня масса замечательных идей. Я все время веду переговоры и с мадридскими фирмами, и с Южной Африкой, и со Стокгольмом. Мне шестьдесят четыре, но выгляжу я на пятьдесят. Я еще держусь, не даю себя утопить. Бизнес на червях прогорел. Сейчас уже чуть ли не на всех гольфовых площадках их собирают. Дешевле всех поставляют червей пуэрториканцы. А фермеры вообще придумали, что лучшая приманка — кукуруза и искусственный, из пластмассы, червяк, но пахнущий, как настоящий дождевой червь. Теперь цена за десять тысяч — девять центов. Такая конкуренция, дальше некуда! Нужны

денеги. Деньги! Вот посмотри — это моя карточка на получение кредитов...

Я не стал смотреть на его карточку, мне нужно было смотреть на дорогу — каменистую, без обочины, всю в ямах и корнях деревьев. Только на миг я скосил глаза на полоску голубого картона в его руке.

— Под нее я покупал и билеты на самолет, под нее — виски и магнитофон.

— Тогда зачем же ты вез нам подарки? Драгоценности? Ты что же думаешь, мы сможем их от тебя принять? — похолодев, спросил я. «И ты еще швыряешься деньгами, как миллионер?» — хотел добавить я, но вместо этого сказал: — Мы все отогнем тебе обратно: и запонки, и броши, и магнитофон. Но денег у нас, увы, нет.

— Что ты там говоришь о подарках? Это же мелочь! — перебил он меня. — Ты мне сказал, Гена, что в стройку вложены миллиарды. Продай свои акции или что там ты в нее вложил. И уверяю — не пожалеешь. Со мной можно делать дела. Но сейчас мне нужны наличные деньги. Сейчас у меня горит одна страховка. Выгодная, но ужасно дорогая страховка. Начиная с семидесяти лет я могу жить в доме престарелых «Приют золотого возраста». У нас так называют возраст после семидесяти. «Золотой возраст». Неплохо, а? Но все пойдет прахом, если я не смогу регулярно выплачивать взносы до наступления этого возраста! Великолепный

пансион в прекрасной вилле на берегу моря. Кресла-качалки на террасе, старички сидят и качаются в креслах, любят цветы и морем. Но если я не выплачу страховку до конца...

— А твои дети? У тебя же трое детей.

Фред ничего не ответил, а я не стал повторять свой вопрос.

Когда самолет взлетел, на душе у меня было омерзительно. Но откуда я мог взять для него денег? На моем счету во фрипортском банке была очень скромная сумма, включая и те триста долларов, что предложил мне Балаж.

Мы уже привыкли, что, если просить девочек прислать что-нибудь, нужно писать минимум раз пять. Кончались наши дезинфекционные средства, мне нужна была одна книжка по специальности. Я писал и снова писал им. Илонка же, разумеется, оправдывала их: долго идут письма, наверняка они сильно заняты на работе, далеко почта. Но ведь из шестерых один-то может найти свободную минутку? На наши вопросы они вообще не отвечали. Где учитесь? Где работаете? Хорошо ли уживаетесь друг с другом? Удалось ли скопить хоть сколько-нибудь денег? Мы честно докладывали им о том, как растут наши сбережения. На рождество мы всегда посылали им немного фруктов, а если кто ехал домой, посылали с okazji ка-

кой-нибудь недорогой подарок с припиской: милые доченьки, сыночки, сами понимаете, что ничего другого прислать не можем, нам нельзя горить деньгами, только общими усилиями мы что-то сможем добиться.

— Как ты думаешь, у нас дома уже вошло солнце? Что они там сейчас подельвают? — спрашивала меня иногда Илонка. — Как ты думаешь, Геза, когда мы вернемся, может, у нас уже и внучек будет?

За год до возвращения мне все же пришлось написать им построже: мы до сих пор накопили столько-то и за оставшийся год попробуем еще столько же набрать, ответьте и вы наконец, как дела у вас, и поинтересуйтесь, пожалуйста, насчет возможности либо купить одноквартирный дом, либо разменяться, разделить нашу квартиру, построить другую. Сходите к дяде Тони, он хороший адвокат и специалист по недвижимому имуществу. Если понадобится, он порекомендует вам инженера-проектировщика. Мы приедем в конце ноября. Ясно, что миллиона мы здесь не заработали, но с нашими швейцарскими франками в течение года попробуем что-то предпринять.

Месяц ждали ответа. Два месяца. Ни строчки.

— Не подгоняй их, — умоляла Илонка. — Пока они все прикинут, посмотрят.

— Могли бы и раньше посмотреть. Дол-

жны были давно посвятить нас в свои планы.

В конце концов я написал Тони (моему приятелю, школьному товарищу, крестному отцу Аги). С обратной почтой пришел ответ: были у него наши дети, обсудили много вариантов, скоро вышлют проекты.

— Ну вот, — сказала Илонка, — я же чувствовала.

Балаж остается на монтажной площадке еще на полгода. В основном мы свои работы здесь закончили. К рождеству приедет комиссия во главе с Яблонкаи. Состоится официальная сдача объекта, но мне этого уже не нужно дожидаться. После нас снимутся с места и ребята из группы Балажа и со всеми машинами и оборудованием переберутся в другую страну, тут, по соседству.

— А домой когда ты собираешься? — спросил я его.

Балаж приветливо ухмыляется, достает записную книжку:

— Вот когда возле каждого из пунктов будет стоять птичка.

Я смотрю в его список: «мерседес»-дизель, вилла в Леаньфалу, кооперативная квартира и дальше подробная «детализация»: сколько ковров, какой сервис, сколько штор, сколько тысяч в валюте.

— Тебе много лет?

— Еще могу ждать. Потом уеду домой и женюсь. Пойдет за меня любая, какую только пожелаю. Придете на свадьбу, тетя Илонка?

— Конечно, приду, — говорит жена. — Иску вам ореховый торт.

Гигантские болотные кипарисы стоят строем вдоль реки. Их воздушные корни торчат из земли, будто груда кеглей. Говорят, дельта реки Миссисипи вся заросла болотными кипарисами. О господи, Миссисипи! Катер уже совсем близко, я слышу воркотню его мотора. Но когда закрываю глаза, я не понимаю — катер это, или мотор автобуса, или это барабаны, или мое сердце? Я прошу Балажа, чтобы после нашего отъезда он подкармливал обезьяну. Старая обезьяна, отбившаяся от своего стада, приходит к нашему дому и кланчит фрукты. И чтобы он присматривал за нашими цветами в ящике под окном. Илонка вся в этом: вокруг джунгли, со всех сторон тянутся какие-то ветки, лианы, цветущие кустарники, но ей еще помимо всего этого нужны цветы. Каких только цветов с никому не известными названиями не выращивает она в двух деревянных ящиках на нашем крыльце... Катер приближается. Значит, это у меня болит сердце? Вчера со своим переводчиком ходил в деревню прощаться. С прабабком, у которого за четыре года вместо две-

надцати детей стало пятнадцать, самого младшего из его сыновей я держал на руках во время какого-то обряда с огнем и водой. Прораб обнял нас, Илонке повесил на шею гирлянду из цветов. Я отщипнул от венка один лепесток и положил в бумажник, рядом с рисунком зайца. В деревне по случаю прощания с нами били в барабаны, жители пустились в пляс, втянув нас в свой хоровод. Один рабочий со стройки, очень умный и способный — имя у него такое трудное, что мы звали его просто Дюри, — преподнес мне каравай хлеба и вдруг заплакал. Да, это сердце у меня болит, потому что никогда не будет больше знойного, беспощадно-синего неба, этих непроходимых джунглей, чего-то коричневато-зеленого, неторопливо плывущего по реке, о чем только вблизи можно с определенностью сказать, ствол это плывущего дерева или крокодил; не будет этих чужих ароматов, утренних зорь, вспыхивающих среди глубокой тьмы, не будет песен, звучащих в туземной деревне, влажного зноя и змей, с шипением вылетающих из молочной крынки, не будет гидростанции, где со вчерашнего дня уже вертятся лопатки турбинных колес. Подходит катер, и я с тревогой чувствую: щемит сердце.

Пришло ответное, подробное письмо от дочерей и зятьев: «...Что касается денег, то мы не много можем вложить в это дело. Да и это еще не очень точно... Есть еще надежда... Обещали в сентяб-

ре заплатить... Возможно, до тех пор и мы что-то подкинем...»

Могу себе представить, сколько споров и ссор было, пока шли эти подсчеты... Если вы всего лишь столько накопили, чего же я буду из кожи лезть?! Зачем вам было покупать цветной телевизор? А вам — мотоцикл? Мотоцикл был хорош, пока мы вам его давали покататься?! Ты говорила, что с первого числа пойдешь работать... Занимайся своими делами... А ты верни мне тысячу, которую я тебе займы дала... Господи, старики уже возвращаются. Как время летит!

Но наконец готовы и соображения, и проекты. Трехкомнатную квартиру можно переделать в две двухкомнатные. Передняя большая, из нее спокойно можно выгородить маленькую ванную. Скажем, здесь поставим стенку, там прорубим дверь, и получатся две изолированные квартиры с отдельными входами... Прилагаем и предварительную смету... Тогда останутся еще деньги на покупку двух комнат в доме на Матяшфельде, это для Юдитки, потому что они к весне ждут прибавления. Прилагаем фотографию дома и смету необходимых перестроек. Старая мебель не стоит ни гроша. На оставшиеся деньги можно было бы купить мебель...

Мы с Илонкой девяносто девять раз просматриваем планы, чертежи, пояснения к ним.

Нет сомнения, дети все учли, все продумали. Только на сотый раз я вдруг спохватываюсь:

— Послушай, Илонка, здесь же все спроектировано из расчета на три квартиры! О нас с тобой они просто забыли!

Что это? Пробили какие-то огромные часы? Или урчит мотор? Похоже, часы! Из тумана на меня надвигается чье-то неясное лицо. Время, время, время. Огромный турок в тюрбане кружит по базарной площади и дергает за шнурки марионеток кукольного театра. Я снова маленький мальчик и тяну за руку бабушку: хочу в кукольный театр! На сцене театра сказочный город из фанеры телесного цвета, с башнями, церквями. Я хочу пойти по этой намалеванной на фанере улице, между ее домами. Я одновременно и ребенок, и взрослый. И я знаю, что это одновременно и театр кукол, и Париж, и наша квартира в Будапеште, и река, кишущая крокодилами, и старый турок — он одновременно и водитель автобуса, и моторист на катере, и пилот самолета, выключающий мотор, потому что ему не дают разрешения на взлет. Заман, заман, заман, время, время, время — печально говорит турок, и бабушка тянет меня за руку прочь от кукольного театра. «Нельзя хотеть все сразу, — говорит она. — Какой ты ненасытный. Тебе и театр подавай, и сахарную вату, и десять крейцеров. Разве можно быть та-

ким жадным? Когда дети рождаются, у всех кулачки сжаты, им хочется всего! Все мое! А умирает человек, раскрыв ладони: вот, видите, как бы говорит он, ничего не уношу с собой!»

— ...Все сейчас получают завтрак. И попрошу приготовить билеты. На паспортный и таможенный контроль пойдем все вместе, автобус сейчас подадут...— Представитель МАЛЕВа снова весь в мыле, мы проходим через огромный зал аэровокзала, волоча за собой багаж, послушно достаем документы, заполняем бланки. Четыре молодых человека толкуются вместе с нами, небритые, с серо-зелеными лицами. Они охают, останавливаются, задерживают очередь. Все прочие вначале только потешаются над ними, пока наконец одна пожилая дама, возвращающаяся с симпозиума преподавателей музыки из Токио,— она уже четвертый день в пути — не выдерживает:

— Ну что с вами, молодые люди? Что вы все хнычете?

— Не выспался,— жалуется здоровенный дегина.— Не привык, чтобы меня в четыре утра вытаскивали из постели.

Преподавательница музыки смеется:

— Господи! Только и всего-то. Поднялись раньше времени? Из чего же вы сделаны, если так раскисли?! Из сахара?

— Вам легко! — спешит ему на помощь товарищ. — Вы закалились. У вас вторая мировая война была...

По лестнице вверх, по лестнице вниз. Зря упаковали коньяк в красный баул. Идем через выход номер три, над аэродромом по-прежнему еще туман, белый легкий полог, но сквозь него уже проглядывает опаловое солнце. Видно и самолет. Двое внешторговцев проталкиваются вперед.

— Ну, сейчас погода все же лучше, чем вчера вечером, — улыбаюсь я стюардессе.

— Да, чуть-чуть. Будем надеяться...

ПРОЩАНИЕ С МОРЕМ

КИНОПОВЕСТЬ



Búcsú a tengertől

© Fehér Klára, 1983

© Перевод на русский язык издательство «Радуга», 1990

| ГАВАЙИ

— Никогда, ни за что не соглашусь!

— Ева умная девочка. Всегда взвешивает, обдумывает свои поступки. Хорошее здоровье, отличные рефлексы. Я точно знаю: в особых случаях можно получить права до совершеннолетия. И она будет водить машину.

— Геза, ну сколько раз тебе повторять: ни за что не соглашусь! Не нужно ей это. Слишком рано, не к чему. И прошу тебя, оставим этот вечный спор. Шестнадцатилетней соплюшке не нужна собственная машина.

— А мне он зачем, этот дряхлый «фольксваген»? Ему уже одиннадцать лет! Продать на рынке автомобильного старья?

Электронные часы, стереосистема, домашние вечеринки, новое платье на каждый школьный праздник, заграничная поездка, спортивная экипировка фирмы «адидас». Не хватает только колокольни и башенных часов с боем, думает Агнеш, он покупает ей все подряд. Все разрешает, на все смотрит сквозь пальцы. Зато болячками и неприятными делами занимается мать: водит на прививки, к зубному врачу, делает уколы. А папа — он только расписывается, если хорошие оценки, в дневнике, берет с собой в кино, угощает мороженым. Конечно, я не умею аргументировать. Когда мне было шестнадцать, я не смотрела до полуночи «телек».

Потому что в мое время еще не было телевидения. И никому не приходило в голову спрашивать у меня: отчего ты такая понурая, не радуешься, что весна, что в доме есть электричество, холодная и горячая вода? Почему ты не хочешь жить и наслаждаться жизнью, а только ищешь, как бы убить время? Почему тебе каждый час подавай кино, телепередачу?

— Да не придирайся ты к девочке! — негромко говорит Геза, и от этого глуховатого, умоляющего голоса у Агнеш начинает сильно-сильно стучать сердце. Агнеш боится, что однажды Геза выскажет ей это обвинение: ты любишь только своего сына, а нашего общего ребенка, нашу память о Гавайях, не любишь.

...Самолет вылетел из Сан-Франциско поздно вечером и в три утра приземлился в аэропорту Гонолулу. Все, ну буквально все, было как в рекламном фильме. Сияла полная луна, звезды были прицеплены к небу так близко, что казалось: только протяни руку — и достанешь. В сказочных виллах на склонах Алмазной горы свет из окон струился даже в эти предутренние часы. Океан раскачивал на волнах белую пену, стройные кокосовые пальмы бежали навстречу, и воздух был напоен ароматами ананасов и орхидей. Накрапывал легкий дождь. Шелковыми нитями он спускался из облаков и через мгновение высыхал, паром поднимался ввысь. К приземлившемуся самолету подкатили трап, внизу

его окружила делегация для встречи участников конгресса: полинезийские девушки в невысшимо коротких юбочках «хула», юноши в рубашках «алоа», с белоснежными улыбками, карие, смуглые, с гирляндами из орхидей на шее.

Все это как сон: оркестр, играющий «Алоа ой», мягко покачивающиеся на рессорах автомобиля, изумительные автострады, силуэты пальм и дурманящий аромат, статуя короля Камехамеха II, белоснежные небоскребы в центре города и вереница отелей Ваикики. И как сон — бамбуковые занавески в гостиничном номере, противомоскитные сетки и аромат орхидей, смешанный с запахом дезинфекционных средств. На большом блюде — манго и бананы. Как сон — легкая простыня на кровати, объятия Гезы, его смех, его ласки. «Тебе когда-нибудь снилось такое? Это мой свадебный подарок — путешествие на Гавайи».

Прошло всего три дня, а им казалось — целая неделя. Организатором конгресса была «Модерн фуд корпорейшн»¹, американская транснациональная фирма — с собственными телевизионными станциями, журналами, клиниками, научными лабораториями, работающими каждый год под новым научным девизом: «Похудеть — значит дольше жить!», «Фрукто-

¹ «Корпорация современного питания» (англ.).

вый сок, богатый магнием,— вот гарант здоровой сосудистой системы!» и тому подобное.

Международный отдел фирмы обрабатывал все специальные научные статьи по проблемам питания, в какой бы части света эти статьи ни появлялись. Так однажды им в руки попала публикация Гезы Полтаваи (Венгрия, Европа, Будапешт, 1961 г.). Затем завязалась официальная переписка. Научная работа Гезы появилась в одном из журналов фирмы, за публикацию прислали небольшой гонорар и приглашение в Гонолулу на «Всемирный конгресс по проблемам питания». В программе конгресса указали и научное сообщение на десять минут доктора Полтаваи. Венгерский национальный банк выделил необходимую валюту, остальные деньги прислал из Парижа брат Агнеш, Фери.

Кроме того, в программу конгресса входили два официальных обеда, три ужина и встречи с целой армией журналистов. Когда Геза и Агнеш поднялись в условленное время на вращающуюся террасу, увенчанную «Ала Моана», очередной журналист уже ожидал их. По его знаку официанты подали на серебряных блюдах красиво разделанные свежие ананасы. Им осталось лишь вынимать дольки серебряными ножом и вилочкой из предупредительно раскрытой кожуры. Щедро струился медово-сладкий сок, аромат ананаса смешался с запахом соленого моря, пальм, орхидей и

странных приправ.

— Какого вы мнения о гавайских ананасах, мистер Полтаваи? Нравится вам их вкус? Каковы их питательные свойства?

— Отличные фрукты! Великолепные!

Они наслаждались свежесобранными ананасами, вкушали еще какие-то неведомые южные фрукты и даже не заметили, как возле соседнего стола остановился бородатый молодой человек и молниеносно сделал несколько кадров. А на другой день утром, купив газеты в холле гостиницы, они увидели свое изображение, но еще более изумились огромному заголовку:

«ЗНАМЕНИТЫЙ ЕВРОПЕЙСКИЙ УЧЕНЫЙ ДЕЛАЕТ ЗАЯВЛЕНИЕ:

Свежие ананасы по питательности равны материнскому молоку, препятствуют развитию склероза и ревматизма и являются надежным средством профилактики катаракты...»

— Что же теперь нам делать? — воскликнула Агнеш.

— Смеяться!

И они смеялись: на народном празднике, «дуахуне», на веселом представлении, со смехом плавали в водах синего океана, смеялись над проделками дрессированных дельфинов и, смеясь, катались на лодке, сквозь стеклянное дно которой видны были проплывающие внизу морские чудовища. Они смеялись в постели, а

в окна к ним заглядывали освещенные луной ветки пальм.

Геза протянул руку, пошарил, что-то отыскивая на ночном столике.

— Посмотри, что я купил тебе! Это бог Кон-Тики.— Статуэтка была очень маленькая, из смолисто-черной вулканической лавы, со сверкающими зелеными смарагдовыми глазами.— Она всегда будет напоминать нам о Гаваях, о нашем свадебном путешествии.

— Не нужно, чтобы боги напоминали нам. Я и так не забуду.

— Тогда это будет талисман для нашего ребенка.

— Для нашего ребенка?

У Агнеш перехватило дыхание. Геза совсем не думает о ней — ведь ей уже сорок, и у нее есть девятилетний сын. Снова рожать в сорок лет? На лбу выступил холодный пот, застучали от страха зубы. Что-то здесь не так, какая-то ошибка! У Гезы это тоже второй брак. Поздняя любовь, головокружение, восторг, вечные каникулы... Сколько она еще проживет? Лет двадцать, тридцать, ну пусть сорок. Они могут путешествовать, лечить людей, учиться, любить, радоваться. Но основной ее брак — с молчаливым, серьезным Яни Хомоком — уже в прошлом. Она родила сына, вырастила его. (Ты вырастила его, Агнеш?!) Припомнились многочисленные детские болезни. У малыша болит

шпотики, а ей приходится тащить его в ясли. Нинеска сердится: «Мамаша Хомок, опять вы последние?» Сколько раз Агнеш звонила своей маме и плаксиво-взволнованным голосом просила, умоляла ее забрать Янику из яслей, потому что у нее ночное дежурство...

| ОКНА

— Доброе утро, госпожа Чизмаш. Хорошо выспалась?

Еще в полусне Кати снимает трубку. Зажигает пачку, смотрит на часы. Полпятого утра.

— Доброе утро, Янош! Я уже не сплю. Сейчас встану.

— А я только иду спать. Как ты там?

— Отлично. А ты?

— Дивная погода. Самая подходящая для охоты за звездами. Одну, кажется, я точно поймал на мушку. После обеда проявлю — посмотрим, что там у меня получилось.

— Не замерз? Холодрыга ужасная!

— Ничего страшного. Не бойсь! Открыл кунол, а звездочки так и сверкают. Всю ночь просидел у Шмидтовского телескопа.

— Ужинал?

— Ужинал, дорогая Катица. Вчера съел жареного цыпленка. Сегодня на очереди пакет № 4: шпинат и свиной эскалоп — все

согласно твоим ценным указаниям.

— Хлеб еще есть?

— Целый мешок.

— А чистая рубашка?

— Все есть. Все, кроме тебя, милая Кати, тебя мне очень не хватает. Иштван в порядке?

— Надеюсь. Я его почти не вижу. День и ночь работает.

— И в кого он такой трудолюбивый?

Кати смеется.

— Ты там поосторожней, дорогая.

— Ты тоже, Янош.

Идеальный брак, думает Кати и кладет трубку. Постоянные разлуки, нетерпеливое, страстное ожидание встреч.

Одну неделю в месяц Янош дежурит у телескопов в загородной обсерватории: в понедельник утром за ним приходит институтская машина, неделю спустя она же привозит его обратно. Каждый раз он уезжает, сжигаемый почти мальчишеской жадой приключений, веселый и взволнованный. Кати заранее готовит недельный запас провианта, который Янош должен съесть в предписанном ею порядке: в первый день — жареную печенку, на следующий — голубцы с укропом или что-нибудь в этом роде. Конечно, астрономы на вахте могут что-то сварить-поджарить: при обсерватории есть небольшая кухня, холодильник, можно спуститься в деревню за картошкой, за

шитою. Но если стряпать, нужно потом еще и мыть посуду. Лучше питаться тем, что приготовила жена, а грязную посуду увозить в конце недели домой. Янош Чизмаш получил в подарок на день рождения складной нож с четырьмя лезвиями, штопором, пилочкой для ногтей и открывалкой для консервных банок — мечту всех мальчишек в двенадцать лет. Наутро после вахтовой недели он отсыпается до обеда, затем — короткий визит в институт, а дальше — либо на другой день, а то и через два-три дня — уже нормальный рабочий режим.

Кати поначалу удивлялась, что для изучения звездного неба больше всего подходят летние ночи, а зимние, особенно в скрипучие лютые морозы. В эту пору астрономы в неуклюжих валенках, тулупах, в натянутых по самые глаза меховых ушанках непрерывно дежурили возле телескопов и фотокамер — штурмовали с помощью этих мирных орудейных стволов тайны Вселенной.

Несколько раз Янош брал с собой на вахту Иштвана — когда тот еще был школьником. Иштванка ездил в обсерваторию охотно — как и повсюду, куда приглашал его с собой Янош. Лучшие отношения между отчимом и пасынком и представить себе было трудно. Но после экзаменов на аттестат зрелости, выбирая профессию, Иштван даже не заикнулся об астрономии.

Кати привыкла к этим ранним телефонным звонкам. Иногда Янош спрашивал, не мешает ли ей. «Да что ты?! — отвечала она. — Я люблю рано вставать. Утром голова свежая». В эти часы она успевает просмотреть кучу читательских писем и выбрать из множества просьб, жалоб и проблем наиболее острые и срочные, о которых она напишет в «Окне». «Окно»! Почти пятнадцать лет Кати ведет эту рубрику в «Свободной газете». Статьи ее выходят два раза в неделю, по вторникам и четвергам, на шестой странице, в рамке, с красивой Катиной подписью — факсимиле. В рубрике «Окно» Кати освещает, казалось бы, частные проблемы, которые значат так много для тысяч людей. Например, тетушка Йожефне Коти пришла за ломтиком ветчины в продуктовую лавку. А продавец, аккуратно завернув покупку, «невинно» полюбопытствовал: «Большой банкет, бабуля? Никак весь Совет Безопасности ООН пригласили?» Тут дело не в глупой, бестактной шуточке продавца, а в том, что остальные покупатели слушали и хихикали, не подумав заступиться за беспомощную пенсионерку. Дух общества, его способность к состраданию — тут еще много нужно поработать. Или ничтожно малое горе техника Элека Куташи: жена лежит больная, приходится самому ходить в молочную, а там ему регулярно дают вчерашнее молоко, которое свертывается, едва поставишь на плиту. Он мог

вы вернуть молоко, но как? С кастрюлей? Ведь он рад, если вообще засветло домой доберется. А ему еще ужин готовить для малыша и больной жены... Кати извлекает выводы из таких вот маленьких, частных людских обид. Пишет в том, что у нас никого не наказывают за работу спустя рукава, за небрежное обращение с товаром. Если министерство торговли и санинспекция не следят за тем, что продается в продовольственных магазинах, исправны ли рефрижераторы, перевозящие молоко и фрукты, внакладе обычно остаются самые обездоленные люди.

Или дело доктора Михая Рабиана, которого Сольнокский областной суд осудил на четыре месяца лишения свободы (условно) и на два года — водительских прав после того, как он в пятый раз был задержан в пьяном виде за рулем. Приговор до глубины души возмутил Катю. Так сколько же раз пьяный доктор садился за руль, если его только задерживали пять раз? Сто? Тысячу? Всегда? И почему не отняли у него права во второй, в третий раз? В интересах всех участников дорожного движения нужно навсегда лишать тех, кого неоднократно задерживали пьяными за рулем, водительских прав. Пусть пьяница сидит дома, беседует с любимой бутылкой.

Катины «Окна» по вторникам и четвергам очень популярны. Сотнями приходят на них от-

клики читателей с новыми случаями, достойными описания.

Кати спешит в душ. Но и стоя под ледяными струями, и причесываясь, и за чашкой кофе она постоянно думает о своих «Окнах», формулирует, редактирует статьи. Сейчас она одна в квартире, Иштван позавтракал и умчался в институт.

Кати уже за машинкой, торопится зафиксировать «написанную в голове» заметку об учительнице, пожаловавшейся на чиновника из Бюро путешествий «ИБУС», который не только не выдал группе из тридцати пяти школьников льготных билетов для турпутешествия в дни каникул, но еще и хамил при этом.

У Кати прямо-таки гипертрофированное чувство жалости, сострадания к чужому горю. Помнится, еще в раннем детстве, когда ей было года четыре-пять, а младшему братику, Йошке, — три, после очередной маминой сказки, где неизменно действовали три разбойника, три храбрых принца, выдержавших три испытания, маленькая Катица спросила свою молодую красивую маму: будет ли у них еще один, третий ребеночек — братец или сестрица? Засмущалась мама, зарделась и с улыбкой ответила: «Не знаю, Катица, нас вот, видишь, с папой и вами, уже четверо... Но, конечно, задумчиво добавила она, — если бы мы сейчас услышали, как маленький-премаленький мла-

детишек плачет под окном, замерзая на снегу, вы не дали бы ему погибнуть, отворили бы дверь, взяли бедного ребеночка к себе». И в то же мгновение Кати вдруг увидела, что вокруг нее столпились взрослые, трясут ее, протирают личико уксусной водой, наперебой спрашивают: «Что случилось, где болит?» — и умоляют вымолвить хоть словечко. А Кати не могла тогда ничего объяснить, она и сама-то лишь много лет спустя поняла, что от природы наделена чудесным даром — способностью перевоплощаться в другого человека. И что тогда, находясь в теплой комнате, она не просто вообразила себе ребеночка, замерзающего на снегу, — для нее исчез весь мир вокруг: и теплая печь, и половик у порога, и банка грушевого компота на столе, и мама с братиком Йошкой. А сама она стала этим крошечным младенцем, лежащим на снегу, ее маленькие ручки-ножки посинели, закоченели от стужи, а животик втянулся от голода, и она, Кати, залилась криком, задыхаясь от плача, умоляя о помощи. С той поры она постоянно сражается со злом. Вот и сейчас она уже не Кати, журналистка, ведущая рубрику «Окно», а та самая учительница, что протестовала в Бюро путешествий против безразличия и хамоватости юного чиновника.

Кати печатает новую заметку. Она уже забыла историю с детскими льготными билетами, теперь она вместе с будущей молодой мамой

Хорватне возмущается поведением доктора Рудольфа Химеша, участкового акушера-гинеколога. Хорватне с минуты на минуту ждет первенца. Она прилежно ходила на ежемесячные консультации, каждый раз платила доктору по пятьсот форинтов за визит. «Завтра я уезжаю в отпуск», — с улыбкой сообщил ей доктор Химеш и в очередной раз положил в карман полтысячи. Разве не мог он месяца за два до ухода в отпуск передать будущую маму Хорватне другому врачу? Ведь бросить молодую женщину накануне родов — разве это не такое же преступление, как оставить без помощи сбитого машиной пешехода? И теперь она, Катинка, и есть та самая молодая женщина, еще недавно спокойно и радостно ждавшая своего первенца, а теперь испуганная, растерянная... Но она и журналистка, страстно требующая соблюдения этических норм.

Однако пришедшие к ней письма с жалобами она не только обнаруживает и прокомментарирует, а поможет и делом. Она звонит в Бюро путешествий, выслушивает агрессивные возражения («Не ошибается тот, кто ничего не делает, что у вас, газетчиков, из-под пера одни только шедевры рождаются?») и наглые протесты («Как это дело вообще к вам попало? Почему жалобщица не пришла ко мне?»), узнает, что молодой человек, отказавший в льготных билетах, «ну, может быть, чуточку был нетерпелив».

ни по отношению к пассажирам, но вообще он очень хороший работник» и что разницу в стоимости билетов школьникам перешлют.

Кати звонит Агнешке по поводу поступка доктора Химеша. «Какая же я свинья, — думает она, набирая номер, — раз в тысячу лет удосуживаюсь позвонить подруге, и только если нужна ее помощь». («Как некрасиво, — думает в другой раз Агнеш, набирая Катин номер, — что я названиваю ей, только если у кого-то из моих больных неприятности». Но ведь дружба потому и называется дружбой, что во фразе «Как дела? Можешь помочь?» заключен и такой смысл: думаю о тебе, верю в тебя, во всем на тебя рассчитываю, и мой звонок означает, что снова замкнута цепь, по которой течет ток нашей привязанности друг к другу.)

Кати кладет трубку. Агнеш дает распоряжение: немедленно положить оставленную доктором Химешем на произвол судьбы роженицу в родильное отделение больницы Святой Катаринны.

Какая же я счастливая! — снова думает Кати. Ингван вырос хорошим человеком, стал талантливым историком. И Яни — такой милый, ласковый. Лишь иногда кольнет в сердце: в ведь был когда-то в ее жизни другой человек, Ингван Ач, но его унесла война...

Едва открыла дверь редакции — секретарь главного поспешила ей сообщить:

— Шеф дважды спрашивал о вас, идите прямо к нему.

Главный принял вежливо, указал на кресло подле журнального столика. Сам сел напротив. На столике между ними — толстая папка. Колтаи развязывает тесемки.

— Я пригласил тебя в связи с «Окнами». Он вытаскивает из досье длинное письмо и целую пачку газетных вырезок. Это Катинны «Окна».

— Письмо «сверху». Твоя последняя статья о некоем Михеае Рабиане очень не понравилась «там».

— Правда? — удивляется Кати. — И почему же?

— Вот ты пишешь: *«Именем детей, больных, всех пешеходов и других участников дорожного движения, именем всех, кому грозит опасность, я с возмущением требую: ни через два года, ни через двадцать лет не возвращайте Михаю Рабиану водительские права».*

— Кто это подчеркнул?

— Прочти, и все поймешь. — Он протягивает ей письмо.

«...обращаю внимание Ответственного редактора газеты на то, что оснований, вытекающих из положений действующего законодательства, для лишения д-ра Рабиана водительских прав нет. Вообще же мы просмотрели рубрику «Окно» за последние месяцы и пришли к выводу, что помещенные в ней публикации

что не попадают в цель, страдают преувеличениями, противоречат действующим правовым нормам и потому вызывают недоумение и недоверие. Заметка в «Фре Рабиане» явно вредная. Просим уважаемое руководство редакции предупредить свою сотрудницу Каталину Андраш, чтобы, если она в дальнейшем намерена касаться правовых вопросов, обращалась к ведущим юристам нашего Главного управления, которые всегда готовы дать ей нужные консультации...»

Кати смотрит на подпись и густо краснеет. Письмо подписано Балажем Ивани. Тем самым...

— Редакционная коллегия считает, дорогая Каталина, — Колтаи внимательно разглядывает носки своих туфель, — что в твоих интересах, да, да, в первую очередь в твоих интересах, отмечая твою работу и желая тебе дальнейшего роста — тем более что очень скоро ты достигнешь пенсионного возраста, — снять тебя с рубрики, которая приличествует разве что начинающему...

— Не поняла...

— ...И назначить редактором воскресного приложения «Семья», — Колтаи все еще не смеет поднять глаза на Каталину, — с повышением должностного оклада на тысячу форингов. При твоей занятости на новой должности ты, естественно, физически не сможешь писать по две статьи в неделю. Было бы несправедливо и бесчеловечно требовать от тебя такого. Но

в месяц или даже, скажем, в два месяца раз мы будем давать твои публикации. Однако не в этом стиле, без рамок и факсимиле. Тем паче что другие сотрудники уже выражали в связи с этим свое недовольство.

— Недовольство? Кто же это выражал?

— Многие. Факсимиле — знак особого, подчеркнутого уважения.

— Но я же никогда об этом не просила. Вы сами однажды так решили.

— Ну конечно. Да, да. И, разумеется, впредь ты сможешь писать о чем хочешь. Ну и — пусть это останется между нами — хорошо бы, если б ты перестала глядеть на мир сквозь темные очки...

— Балаж Ивани, — повторяла потрясенная Кати. — Ивани!

Это было все, что она смогла понять из разговора с главным редактором.

ВОЙНА С ВЕТРЯНЫМИ МЕЛЬНИЦАМИ

Кати остановилась в коридоре редакции возле шкафа для почты, достала корреспонденцию со своей полки. Газеты и письма, письма...

Балаж Ивани не выходил у нее из головы. Это же немыслимо, столько дерьма в одном че-

ловеке! Балаж Ивани — великий инквизитор, беспощадный и страстный разоблачитель сталинизма, занял теперь кресло Барканя и принялся чистить ящики его стола, выметать из них письма и статьи и держать пламенные речи. «Мы будем писать отныне правду, и только правду. На этом столе больше не будут пылиться нерешенные дела и неопубликованные рукописи. В этих ящиках больше не будет валяться без ответа ни одна жалоба трудящихся. Пресса должна быть свежей, смелой, правдивой, босвой...» И это Балаж Ивани, который когда-то повез Каталину в провинцию на судебный процесс растратчицы, заведующей почтовым отделением, а ночью в гостинице постучался, нет — поскребся в дверь Кати. Балаж Ивани наверняка не стал бы писать статьи для «Окон», о докторе Химеше он написал бы пьесу, не меньше. Только случай с роженицей перенес бы куда-нибудь в пампасы Аргентины: на голой земле рождает женщина-индеанка. Или в негритянское гетто Нью-Йорка: жена американского безработного рождает, а врач все не идет. Три дня длятся родовые схватки. Уже четыре. Бедной роженице нужна кровь. Молодые негры добровольно дают ей свою кровь, но уже поздно. Серию в сто спектаклей поставил театр «Заря социализма»...

Кати входит в свой рабочий кабинет, швыряет на стол письма. Даже думать нет сил: бо-

лит, раскалывается голова. Может, я не права? Припоминает усмешку на лице Балинта Эоси, безжалостную гримасу Пала Барканя, когда тот распорядился рассыпать уже сверстанную статью о темных делишках в санатории «Луч солнца»: «Каталина Андраш, ты слишком зналась, больше твои репортажи не увидят света, а имя твое не появится в печати, мы переведем тебя в отдел жалоб — поучиться скромности и покладистости»... «Многие недовольны, что твои публикации идут в рамке и с подписью-факсимиле»... «У Иштванки корь, тельце пылает, как в огне. Побудь дома, — умоляет мама, — не ходи». Но идти нужно. Сквозь снег, дождь, ночную темень. Нужно идти, потому что она кормилица семьи, добытчица... «Я научу тебя работать!» — зло ощеряется Баркань и посылает ее то туда, то сюда, по ложным адресам, грозитя привлечь к ответу и врет, в глаза врет. «Ну что это за репортаж! Ты видишь вокруг только плохое. Сними свои черные окуляры!» Где теперь этот Баркань? Теперь за его столом сидит Балаж Ивани. Святой боже! Тот самый Ивани...

Механически она протягивает руку к вороху писем на столе, раскрывает верхний конверт и тут же забывает об Ивани, о Колтаи, о зависти и ревности — обо всем.

«Мне семьдесят восемь лет. Я одинокая старая женщина, больная астмой и суставами. В концлагере

немцы на мне проводили опыты, и я не вижу на один шаг. Сегодня я получила письмо из жилуправления 32-го района, где сказано, что, если я в течение месяца не сделаю ремонт квартиры, не поменяю мойку на кухне и ванну, не покрашу двери и окна и не отциклюю паркет, меня выселят в аварийную квартиру. Что же мне делать? Пенсия у меня две тысячи форинтов, квартиру я всегда содержу в чистоте, но в этом году и не смогу ее отремонтировать, и вообще я не понимаю, почему я должна менять ванну и циклевать паркет? Получив письмо, я сразу же пошла в управление, но к начальнику меня не пустили, сказали, что неприемные часы. Я умоляла до тех пор, пока меня не приняла некая доктор Пушкашине, которая сказала, что ничем помочь не может, так как есть постановление: жильцов, не поддерживающих в соответствующем виде государственную квартиру, переселять на такую жилплощадь, какую они в состоянии содержать в порядке. Неважно, что я проживаю в этой квартире уже сорок лет — хоть миллион, — важен порядок и общественные интересы. И вообще, отжившие свое старики должны уступать место молодым, этого требует рациональное ведение жилищного хозяйства. А то когда моя квартира (после моей смерти) освободится, ее нельзя будет передать следующим жильцам из-за поцарапанной ванны и мойки... Я вернулась домой и сижу, дрожа от страха, и плачу...»

И Кати снова уже не Каталина Андраш, а Морвайне, которая не спит по ночам, охваченная страхом и заботами. Она отыскивает

в телефонной книге жилуправление 32-го района Будапешта и снимает трубку. Но телефон молчит. Боже, эти наши телефоны! Но вот включился. Увы, теперь номер занят. Конечно, в телефонной книге указали только один номер. На самом деле их наверняка тридцать! Прямых. Секретных. У начальника, у зама, у пома. Но их знают только свои — друзья, родственники. Даже в таком ничтожном учреждении, как жилуправление 32-го района...

Наконец откликается доктор права Пушкашне. Надменна и важна. Ее не интересуют придирки каких-то газетчиков. Она действует всегда в соответствии с Постановлением.

— Да? А вам случайно не известно, уточняет Кати, — о таком пункте этого постановления: съемщиков старше семидесяти лет запрещается дергать подобными предупреждениями?

— Откуда я могу знать, что гражданке Морвайне семьдесят восемь? Вы у себя в газете писать умеете, так и написали бы за нее апелляцию!

— Апелляцию? Это кому же? Их превосходительству жилконторе? Или их светлости жилуправлению? «Нижайше просим вас...» — так, что ли?

— Вы с нами не шуткуйте.

— А мы и не шуткуем, — говорит твердо Кати. — И потому немедленно исправьте свою

ошибку, пошлите гражданке Морвайне новое письмо. Иначе...

А что иначе? — думает Кати. Да ничего. Если доктор права Пушкашне струхнет, они оставят старушку Морвайне в покое. А нет — начнутся придирки, новые угрозы, судебные иски, апелляции, затраты на гербовые марки — и волнения, волнения. И пока идет вся эта возня, квартира Морвайне действительно может освободиться... А что будет с господином доктором Химешем? Да ничего. Если Хорватне счастливо разрешится от бремени, ей и в голову не придет передавать дело Химеша в этическую комиссию Минздрава, не подумает она о следующих пациентках такого доктора. А если и комиссия! «Ай-я-яй, ну как же это вы! Нехорошо, доктор, нельзя такого допускать... чтобы нас критиковали в прессе...»

Катицу охватила усталость. И бессилие. Ну кто она такая, чтобы идти войной на химешей и пушкашей?! Какое ей дело до грубых, черствых чиновников? Можешь мести этот мусор, пока не задохнешься в нем!

Она примет предложение Колтаи. Хватит, надосло сражаться с ветряными мельницами. Надосло, что за любую работу ее могут шпынать такие вот Балажи Ивани. Будет редактировать воскресное приложение: выкройки, рецепты венгерской кухни, педагогические советы (детки, подарим мамам на 8-е Марта ма-

ленькую птичку из сваренного вкрутую яйца!).
Полезные советы кролиководам...

Кати встала и заперла на ключ ящики стола. Позвонила в секретариат: сегодня ее не будет. Надо посоветоваться с Яни, сегодня же. Дневным автобусом она съедит в обсерваторию.

| СОСЕДИ ПО ДАЧЕ

Норберт Жилле казался лет на двадцать моложе своего возраста. Жилистый, подвижный, он даже зимой ходил без головного убора, по утрам и вечерам регулярно делал гимнастику, умывался холодной водой. Ел мало: и потому, что боялся пополнеть, и потому, что не хватало денег. Был он вдовцом, не имел ни детей, ни собаки. Единственный родственник, племянник Эден, выгнал его, когда семидесятидвухлетний Норберт, выйдя из тюрьмы, наведился к нему. Сам Эден к тому времени уже вполне оправился после собственной отсидки. Теперь он был всеми уважаемый участковый врач села Харшаштаня и пришел в неопишемую ярость, когда Норберт к нему заявился.

— Если бы ты умел шевелить мозгами, дорогой дядюшка, я бы никогда не засыпался!

— Я тут ни при чем. Поверь мне, — защищался как мог испуганный Норберт. —

Это дурень Татар предъявил не там, где надо, образцы камня.

— Татар — дурень, Паланкаи — дурень!.. Дурнем в этом деле был лишь один человек — это ты, дорогой дядя! Ну как ты мог связаться с этой бандой? Я же сказал Эмилю, чтобы он убирался к черту, но тебе снова захотелось разбогатеть!

— Видишь ли, по идее на том деле вообще нельзя было засыпаться. Замысел был безупречен.

— Ладно. Допустим так. Сколько ты отси-
дел?

— Много.

— И чем думаешь заняться дальше?

— Поживу здесь, у тебя.

— Здесь — нет, — сказал Эден. — Здесь я всеми уважаемый врач. Ученый человек. И вообще, как ты меня разыскал?

— Связи-то у меня сохранились. В ЦК профсоюза медиков, — скромно отвечивал Норберт.

— Вот тебе сто форинтов, исчезни, и как можно скорее.

В придачу к сотне форинтов Эден, добрая душа, дал ему на дорогу сверток с краюхой белого хлеба, четыремя ломтями жареной грудинки и горьким перцем в целлофановом пакетике. В поезде Норберт, расстелив на коленях чистый носовой платок, достал из кармана

складной нож, разложил на платке провизию и принялся закусывать. Напротив сидел приветливого вида мужчина лет пятидесяти и печально смотрел на ломтики грудинки. Жилле с готовностью пригласил его к трапезе. Закусив, они отправились в вагон-ресторан, где спутник Норберта заплатил за пиво и палинку. Его звали Перестеги, или так он пожелал именоваться. По роду занятий профессиональный мошенник, только что вышел из тюрьмы. В Будапеште он жить не захотел и предложил снять на двоих комнату в пригородном поселке Эрд. Так это началось.

Вот уже три года Норберт Жилле с весны до осени, до ноябрьских туманов и мокрого снега, бродил по Будайским горам и предместьям столицы. По тем улицам дачных поселков, где велись какие-нибудь инженерные работы (например, проводили газ, водопровод) или ремонтировали дорожное покрытие. Норберт звонил в особняки, дачки и представлялся:

— Доктор Норберт Жилле, госсекретарь в отставке. Извините за беспокойство, дорогой сосед...

И рассказывал: несколько месяцев назад купил для своих внучат заброшенный участок на такой-то улице, номер виллы (разрушенной!) такой-то. Скоро начну строиться, но возникли серьезные проблемы. Узнал, что по улице скоро проведут промышленный газ, а дело это хоро-

ше — и газовая плита, и горячая вода, и отопление... Но представьте себе, почему-то мой участок при проектировании обошли. Так что прошу вас, дорогой сосед, проконсультируйте, пожалуйста, как вы сами улаживали, чтобы к вашему дому газ подвели, к кому обращались, какие документы подавали?..

Хозяин дома (или старенькая бабушка, или мама в отпуске) от изумления чуть с ног не падает.

— Как это, как это? По нашей улице собираются газ вести? А мы ничего не знали! Промышленный газ! Да тут жизнь совсем переменится! Вы не представляете, как нам надоело мучиться с баллонным-то газом. Да и электричество нынче недешево.

— Ничего не понимаю! — бормочет Норберт Жилле. — Я-то уж ни за что не хочу остаться без газа. Ладно, придется на другой стороне улицы спросить. Но если я что-нибудь узнаю, о вас тоже сказать?

— Были бы вам весьма признательны, дорогой соседусшка. Разрешите попотчевать вас стопочкой «сливовицы»? Сами гоним, пока фининспектор не дознался... Может, нарвать яблочек? Не отведаете ли пирожного?

О, Норберт Жилле, конечно же, выполняет данное обещание — ведь несколько дней спустя в эти же самые дома стучится Перестеги. Да, нам передали вашу жалобу. Да, я инженер по

газификации района. А почему вы вовремя не подали заявление, коли хотели провести газ? Мы всем разослали письма. Ну что ж, возможно, письмо было и не заказным. Просто бросили вам в ящик извещение. Но вы все равно должны были получить его. Должны были! Вот у меня есть ваша фамилия в списке. Еще два года назад мы отправляли извещения. А вы и после этого к нам не обратились. Сожалею, но на сегодня проектные работы уже закончены. Теперь менять проекты весьма сложно. Сложно, но возможно... Конечно, это недешево, но имеет смысл. Это же газ! В другой раз, пожалуйста, повнимательней просматривайте свою почту. Вон дом 18-Б! Многоквартирный дом, а все жильцы получили наше письмо. Ну да ладно, теперь уж все равно. Внесение изменений в проект обойдется вам тысяч в пять форинтов. И еще массу документов придется вам теперь самим добывать: согласие Будапештгаза, Управления водоканализации, Управления земельного кадастра, Управления электрификации, а также Главного административного управления города...

Владелец дома и его семейство, порядком запуганные, слушают множество названий разных учреждений, а «инженер» Перестеги все качает и качает права:

— Да уж, с документацией нельзя так небрежно обращаться! Может, бабушка была

в это время дома? Она куда-то и засунула наше извещение... Ну ладно, в порядке исключения попрошу проектировщиков внести изменения в проект. Сейчас вы заплатите только половину от тех пяти тысяч, что я сказал. А вторую половину — когда придет официальное согласие.

Официальное согласие, конечно, никогда не придет. А Перестеги и Норберт Жилле будут стараться даже случайно не попасть больше в эти места.

Сколько денег положил себе в карман таким образом Перестеги, Жилле не знает... Он за каждый адрес получал от Перестеги только пятьдесят форинтов.

Сегодня я могу не работать, подумал Норберт Жилле в свой восемьдесят второй день рождения. Сегодня у меня праздник. Пойти, что ли, в кафе «Жербо», откусать чашечку какао со сливками? Или лучше взять бутылку «панички» и выпить дома?

Но погода была хорошая, сентябрь стоял теплый, солнечный, да и адреса казались ему безопасными — виллы по склонам горы Харманшатар.

Ладно, сегодня еще поработаю, решил он в конце концов и сел в автобус. Завтра отдохну.

Элегантная вилла, куда он позвонил, стояла в красивом, ухоженном саду. Опираясь на палку, в тапочках и домашнем халате, с террасы спустился древний старик.

Норберт Жилле широко заулыбался и уже хотел начать свою выученную наизусть байку, как вдруг старикан изумленно вскричал:

— Норберт! Норберт Жилле! Вот сюрприз! Недаром у меня с утра чесался левый глаз. Знал, видно, что сегодня я порадуюсь! Да ты проходи, дорогой мой старина. Сейчас позову Амалию. Знаешь, как счастлива она будет!..

— Да-да,— в замешательстве лепетал Жилле, отчаянно пытаясь вспомнить: кто это?

— Нори! Какой приятный визит! Сколько же это мы не виделись? Ты, помнится, служил в артиллерии, а я никогда не изменял авиации!.. Но кто мог тогда предположить, как мы будем летать! Помнишь, бедный Фреди разбился в первом же полете!

— Генрих! — заорал счастливый Норберт. — Генрих Пацауэр! А я прогуливался здесь и вдруг вижу тебя на террасе! Да я представить себе не мог, что это ты! Потому что... потому что...

Надо было побыстрее что-то придумать. Жилле еще раз взглянул на старца.

— ...потому что ты так молодо выглядишь, дорогой Генрих! Я просто глазам своим не поверил...

— Девяносто три годка, дорогой дружок! Девяносто три! А я еще в полном рассудке и физически крепок. Я тут как-то спрашиваю свою

Амалию: либлинг¹, ты не хотела бы еще ребеночка? Так представь себе, не хочет... Ха-ха-ха...

Если он спросит, что я здесь делаю, не могу же я ему рассказывать про газификацию или что на улице Ястребиной, номер 17, я купил себе участок для внучат...— тревожился Норберт Жилле.

Но ему не понадобилось вообще ничего говорить: Генрих Пацауэр не спрашивал ни о чем, а сам не переставая говорил и говорил.

О том, как, слава богу, хорошо у него идут дела, что тяжелые времена позади, что оба младших брата, Виллибальд и Эрнст, в сорок пятом драпанули на Запад: они же были кадровыми офицерами и не хотели дожидаться, пока их притянут к ответу как военных преступников, вроде бедного Густы². Потом они присылали оттуда, с Запада, время от времени посылки, ну там кофе, шоколад для Амалии, анельсины, ребятишкам что-нибудь из одежды. Дети — те, слава богу, в порядке: Генрих генеральным директором был где-то, у *этих*. Теперь уже на пенсии. Шандор — агроном, у Фери — частная кондитерская, ну а внуки...

— Дети помогают вам материально? — уточнил Жилле.

¹ Любовь моя (нем.).

² Густав Яни, видный генерал в армии Хорти.

— Сейчас-то уж и не надо, слава богу. А прежде тяжеленько приходилось, пенсию только Амалия получала — она двадцать пять лет проработала тут в одном кооперативе. Представь себе, Норберт, баронесса Амалия Кевси рисовала какие-то точки на платках для этих коммунистов! Порой и по четыре раза, и по пять раз ходила, просила, чтобы работу дали. И был у нас один такой тяжелый год, когда даже я искал работу. Пошел на аэродром, стал им показывать свои медали за войну, а какой-то сопляк повертел их, повертел в руках, захохотал и говорит: «Отнеси ты их, дед, на рынок, старьевщику. Или верни назад Ференцу-Йожефу¹». Но, к счастью, я встретил Андраша Кремпельса, ты его хорошо знаешь, вы же с ним дружили...

— Да, — подтвердил Норберт Жилле испуганно, потому что в последний раз встречался с Кремпельсом в тюрьме — тот сидел за подделку разрешения заниматься обрезкой плодовых деревьев.

— А где теперь Андраш? Что с ним?

— О, этот высоко пошел! — принялся с восторгом рассказывать Пацауэр. — Представь себе, у него автомашина с шофером, большая пенсия. Он смог доказать, что участвовал в Со-

¹ Франц Иосиф, император Австро-Венгрии до 1918 г.

противлении. К нему теперь пионеры приходят, и он им рассказывает о своей жизни. Книгу пишет о Сопротивлении.

— Книгу? — удивился Жилле.

— Вот именно. О своих героических подвигах. Он и мне посвятит часть книги. Такой порядочный человек! Целую главу мне! «Мой друг Генрих Пацауэр, летчик, герой первой мировой войны!» Разумеется, напишет он чистую правду. Нас и было-то тогда восемь летчиков во всем мире. Героев-летчиков первой мировой войны. Двое немцев, один итальянец, француз, трое американцев и я. Один немецкий режиссер организовал нам встречу ветеранов в Штутгарте. Сняли на пленку, как пожимают друг другу руки представители двух воздушных флотов, бывшие противники. Один американец, Джек Корнуолл, авиационный генерал, герой многих воздушных сражений, девяносташести лет, во время киносъемок инфаркт получил. Мы ему организовали торжественные похороны, как положено боевым соратникам: пять немецких знамен, гимн, залп в воздух, самолеты сделали круг почета, а мы получили Гран-при. Амалия, Амалия, ты посмотри только, кто к нам пришел!

— А что за книгу пишет мой друг Кремпельс? — попытался Жилле вернуть Пацауэра в настоящее.

— И это я тебе скажу. Мы вовремя поняли,

где наше место в истории. Так книга и будет называться. Теперь вот и я пишу свои мемуары. Иди сюда, Амалия! Говорю тебе, милая, здесь Норберт! Der Norbert ist hier! ¹

— И что, напечатают твою книгу?

— Более чем уверен. Ты помнишь Алоиза? Так вот, у него сын работает в издательстве. Он сидел в одной камере с Андрашем Кремпельсом. За ним, ты знаешь, числилось одно небольшое дельце...

Появилась Амалия, принесла кофе и сливовицу, пригласила Жилле отобедать с ними.

От всего этого Жилле так разволновался, что чуть было не позабыл похвалить чиркепаприкаш ², приготовленный баронессой. Мозг его работал на самых больших оборотах. Это надо же, такой дурак, да еще со склерозом, собирается писать мемуары?! А сам путает первую мировую войну со второй. Этот идиот, для которого командующий армией Густав Яни и сегодня еще «Густи»?! Это он-то будет писать мемуары?! А не Норберт Жилле, бывший генерал, депутат от демократической партии в парламенте и заместитель министра, ставший жертвой эпохи Ракоши?! Да, это он, Жилле, вел первые переговоры с русскими о заключении мира. И уж если кто-то вообще имеет право пи-

¹ Норберт здесь! (нем.)

² Жаркое из цыпленка.

сать мемуары, так это только он. И никто другой!

Жилле даже вспотел от такого великолепно-го плана и, дружески улыбнувшись Пацауэру, попросил еще кусок пирога.

| **В САМОЛЕТЕ**

— Очень жаль, мама, что вы завтра уезжаете.

— Мне тоже.

— Иветта отвезет тебя на аэродром. У меня важные переговоры.

— Конечно, конечно! Ты за меня не беспокойся.

— Вот, возьми с собой еще несколько десятков. Вдруг тебе захочется купить что-нибудь в аэропорту...

— Да что ты, что ты! У меня же все есть.

Но Фери все равно запикивает бумажки в мамину сумочку. В сумочке уже все приготовлено: паспорт, билет на самолет, чистый носовой платок. И небольшая картонка, на которой крупными буквами написано: "*WANT TO BU-
DAPEST. PLEASE HELP ME!*"¹

На тот случай, если мама заблудится в аэропорту или самолет сделает промежуточную по-

¹ Мне надо в Будапешт. Пожалуйста, помогите мне!
(англ.)

садку во Франкфурте. Потому что мама уже восьмой раз у них в Париже, но так и не выучила ни слова ни по-английски, ни по-французски, ни по-каковски.

В двух маминых чемоданах бесчисленное множество подарков. Фери, Иветта и две девочки — Сусу и Бебё — посылают их своим венгерским родственникам: Яни-старшему, Яни-младшему, Агнеш, Еве, Гезе и тетушке Илоне. Шоколад, колготки, шариковые ручки, бананы, семейные фотографии. Мама уезжает домой 20 декабря. Чтобы самой вовремя успеть на рождество и чтобы Иветта успела сделать уборку, и тогда комната мамы снова станет комнатой Сусу. Сусу одиннадцать лет. Бебе — девять. В августе они всякий раз со слезами вспоминают, что им нужно на три с половиной месяца поселиться в одной комнате, потому что из Венгрии приезжает погостить бабушка. Венгерская бабушка приезжает каждый год 1 сентября и остается до 20 декабря. Она привозит с собой нарядные венгерские куклы «мате» и венгерскую колбасу салями.

Сейчас, конечно, уже трудно установить, кто придумал такой порядок, что бабушка Чапларне живет от рождества до пасхи у дочери Агнеш, после пасхи уезжает в Шомошбаню, там проводит весну и лето, а 1 сентября приезжает к своим парижским внучкам. Но так заведено, и теперь уже никому не приходит в голову что-

то менять. Втайне бабушка надеется, что однажды Фери скажет: «Ну что ты, мама, проведи с нами вместе праздники, посмотришь разок на настоящее французское рождество». Или Илона вдруг скажет: «Так хорошо осенью дома, поспевают груши и сливы, успеешь ты и в октябре поехать в свою Францию...»

Когда она впервые навестила Фери, Сусу было еще три годика, а Бебе шел второй. Иветта тогда наперед радовалась: вот придет свекровь, поможет нянчиться с детьми, искупает, покормит. Фери написал ей тогда длинное письмо: приезжай, мама, не на неделю, не на две, а оставайся у нас по крайней мере до рождества. В аэропорту ее встречали Фери, Иветта и две малышки. Усадили ее в огромный автобус и покатали по оживленным, забитым машинами бульварам в красивый зеленый район. Иветта объясняла, Фери переводил: здесь хороший воздух, и живут состоятельные люди, это престижный район, но земельные участки очень дорогие. В закоулках квартиры Чапларис и на четвертый день еще могла заблудиться. В ее комнате — ее собственной комнате! — был радиоприемник и телевизор и даже кресло-качалка, а посреди стола на огромном блюде лежали апельсины, бананы, каждый день — свежий виноград. «Чувствуйте себя как дома!» — говорила Иветта, и Фери переводил. Фери взял тогда на три дня отпуск. «Переведи

маме, что с того дня, как мы поженились, у тебя еще ни разу не было подряд три дня выходных», — сказала Иветта. И все три дня возила маму по Парижу. Показала ей Нотр-Дам, знаменитую Сену с мостами и памятниками. Показывала Триумфальную арку, сверкающие огнями проспекты и говорила: «Это Париж, здесь живу я, и вы много раз станете бывать у нас, хорошо?»

На четвертый день Фери пошел на работу, а Чапларне решила помочь невестке. Но они не понимали друг друга, только смеялись и показывали пальцами, и мама никак не могла понять, зачем так много на кухне разных машин. Она намылила пеленки, а Иветта и хохотала, и плакала от обиды, ведь это были одноразовые бумажные пеленки, а для остального — вон она, стиральная машина; смотрите: этим кружочком надо установить программу, их здесь всего восемнадцать, вот эти порошки для тонких вещей, а так машина регулируется... Но приехавшая из венгерской степи бабушка не смела ни к чему притронуться, она не знала, для чего сменный мешочек к пылесосу, не умела пользоваться соковыжималкой. По ночам Иветта жаловалась Фери, что ей и без того хватает забот, что ей хотелось бы, чтобы свекрови было у них хорошо, но она в постоянном страхе, как бы с ней чего не случилось, того и гляди засунет руку в центрифугу...

«Хорошо, дорогая, я попрошу маму, чтобы она больше ни до чего не дотрагивалась. Пусть лучше присматривает за детьми, когда тебе понадобится отлучиться из дому».

Иветта преподавала английский язык в гимназии. Она поднималась чуть свет, готовила обед для мамы и двоих детей, после работы по дороге домой закупала провизию, потом убирала в комнатах, стирала — в общем, крутилась как белка в колесе. Она составила для мамы распорядок дня, нарисовав на большом листе все: во сколько часов будить ребятишек, купать их, кормить. И не надо включать и выключать духовку, а точно в обозначенное время открыть дверцу, и там ее уже ждет свежезажаренная, горяченькая курица. И не нужно складывать тарелки в моечную машину, ради бога не клади туда, как в прошлый раз!.. Только оставь все, как есть, на столе, апельсиновый же сок для детей, уже готовый, стоит в холодильнике. Иветта нарисовала холодильник изнутри, обозначив стрелкой, где стоит апельсиновый сок (на второй полочке сверху). Телевизор она включает с самого утра, потому что мама боится к нему прикоснуться и никак не может понять, что, когда работает кондиционер, нельзя открывать окна. А она любит, когда в комнату льется ключе-прохладный осенний воздух, любит даже туман и пахучее дыхание багряных каштановых крон...

Время до обеда проходит в уговорах — надо поднять малышей, одеть и умыть. Затем, успешно перемазавшихся за завтраком, она снова переодевает их. На платьице Сусу оторвались пуговицы, и бабушка пришивает, заодно отпускает юбочку, из которой девочка выросла, так выяснилось, что мама умеет и шить и вязать — даже крючком.

Тогда-то Иветта и накупила свекрови шерсти для вязания. Время до обеда теперь проходит очень даже приятно. Малышки либо играют на ковре, глаза на невыключенный телевизор, либо смотрят на быстро-быстро двигающиеся пальцы бабушки.

«Это я тебе вяжу, Сусу, и тебе, Бебе», — приговаривает бабушка, поет внушкам всякие песни, например, «Крупные звезды сияют на небе» или такую: «Ветер дует с Дуная»... Маленьким дикаркам это очень нравится, они любят такие чудные песни. И у них есть даже секретик с бабушкой: обед.

«Бедные мои крошки, — повторяет бабушка, подавая им тарелки с салатом и тоненьким кусочком антрекота, поджаренного на гриле. — А где же суп? А где к обеду хлеб? Вы же с голоду, бедняжки, умрете. Не беда, сейчас бабушка напечет вам блинчиков». Она находит в кладовке яйца и муку и героически решается включить электрическую плиту. Изучает все тайны этой мудреной печки, достает красивую стеклянную

сковородку и начинает священнодействовать, а малышки зачарованно смотрят, как подпрыгивают в воздухе блины. «Былины», — повторяют они за бабушкой. «Только вы про это не говорите», — наказывает бабушка и закрывает им пальцем рот — крест-накрест. Блины у нее изумительные. Четвертый день, пятый день, двадцатый. Теперь они уже сами требуют блинов. Едва уходит мама, малышаата начинают бегать вокруг бабушки и повторять хором: «Былины». «Нет-нет, вот ужo на обед...» — «Былины!»

Месяц спустя Иветта заволновалась. Оба ребенка пухнут как на дрожжах, хотя не едят ничего — обед их остается почти нетронутым, и во время ужина тоже без аппетита ковыряют вилкой еду. Может, они больны? Мало двигаются? Надо бы проконсультироваться у врача. Однажды, неожиданно вернувшись домой, Иветта видит, как венгерская бабушка, закатав рукава, в переднике, печет блины. Впрочем, это вовсе и не блины сегодня, это вареники со сливами. Фери объясняет, мама плачет, обидевшись. Она же хотела как лучше! Она сама вырастила троих детей, и ей жалко этих маленьких тощих червячков. Откуда же детям набраться силы? От этого зеленого салата? Они же не кролики!

Затем снова наступает мир. Тайные блинопоедания прекращаются. Детей Иветта возит на специальную гимнастику. Мама по утрам

теперь сидит одна в квартире и штопает прохудившееся белье, одежду. Парижским внучатам она уже навязала всякой всячины, теперь вяжет будапештским: шапочки, шарфики, перчатки, пуловеры. Иветте — пончо с золотой нитью, Фери — пуловер. На это ушли недели и месяцы ее пребывания в Париже, вся парижская осень с умытыми дождями георгинами в саду. Каждую неделю она пишет длинные письма: одно Илоне и Яни-младшему. Другое — в Будапешт, Агнешке: *«Мне здесь очень хорошо, Париж такой красивый»*. Иногда посылает им видовые открытки. На открытках Триумфальная арка, Опера и бульвары, но она знает в Париже только две улицы, на пересечении которых стоит дом, и осмеливается пройти по ним до овощного магазина и до почтового киоска. В маленьком своем календаре она пересчитывает каждый вечер: осталось еще сорок ночей, еще восемнадцать, еще две. Потом наступают будапештские месяцы: «Со счастливым рождением, мама!» Вокруг елки собираются Агнеш, Геза, малышка Ева, приезжает из Шомошбани Яни-младший, они поют «Ангел спустился с неба» и раздают подарки. Под елкой лежат подарки из Парижа, за которые они на следующий день общим письмом всей семьи поблагодарят заботливых парижан. Потом она с Яни-младшим уезжает в Шомошбаню и возвращается оттуда только в начале января. Да и что ей делать в Бу-

дапеште одной всю рождественскую неделю? А у тетушки Илоны, мачехи Яни-старшего, она проведет и праздники, у нее же будет жить и летом. На Новый год Илона испечет противень домашнего печенья «линцер», в форме сердечек или рогаликов, — со сметаной и сладкими орехами. Яни-старший привезет бутылку сладкого вина, и бабушка вдвоем с Илоной первыми отведают холодца, посмотрят программу, а то подремлют. Но больше всего поудачат о том, какой добрый, благодарный парень этот Яни, не забывает ни воспитавшую его мачеху, ни бывшую свою тещу. «И Агнеш тоже, такая добрая девочка, жаль только, что они с Яни развелись, — добавляет Чапларне. — А Фери-го мой — в Париже. Вот славный сынок у меня!»

После парижских легких одеял венгерская пуховая перина кажется тяжелой, душной. И непривычно, что у нее здесь нет не только отдельной комнаты, но даже отдельного шифоньера. Тетушка Илона освободила в своем шкафу для нее одну полку, дала ей трое плечиков. Илона — добрая душа, но она не позволяет Чапларне стряпать: «Брось ты, я уже привыкла тут одна хозяйничать». И в доме тоже не разрешает ей убирать. А летом здесь, в Шомошбане, хорошо. Можно сажать всякие овощи в огороде, окучивать их, поливать, консервировать помидоры для Агнеш. Порой лопается наперник

или нужно перешить юбку тетушке Илоне. Все это Чапларне делает с радостью и с готовностью, а также лечит тетушку Илону, массирует ей больное плечо. Первого числа каждого месяца от Фери из Парижа приходит перечисление — двести новых французских франков, и Чапларне отдает деньги тетушке Илоне. Та сначала отказывается: да что ты, да ты и съедаешь-то тарелку супа в день! Но после долгих уговоров деньги забирает. Раз в месяц приезжает и Агнеш — навестить Яни-младшего, привезти лекарства для тетушки Илоны, подарки, денег матери, потом они усаживаются в единственную в Шомошбане корчму, торжественно именуемую здесь «кафе», и за чашечкой кофе Агнеш допытывается у матери: не нужно ли ей чего? Хорошо ли ей здесь? Может быть, все же ей лучше переехать в Будапешт? Но мама довольна всем: у Илоны золотое сердце, и Яни-младший каждый день заходит. А она любит сад, свежий воздух, так что ты, дочка, не волнуйся, мне здесь хорошо, все у меня есть...

— *Bon voyage! Bon voyage*, бабушка! Пока! — Иветта и внучки посылают воздушные поцелуи. Таможенники очень строги: в нынешней обстановке разгула международного терроризма и в сумке старенькой бабушки тоже может таиться ручная граната. «Откройте, пожалуйста, сумочку!...» В сумочке паспорт, носовой платок, сорок франков и записка: “*WANT*

TO BUDAPEST!” Стюардесса вежливо отводит бабушку на место. Стюардесса — венгерка. Самолет тоже венгерской авиакомпания — «МАЛЕВ». Так что она почти дома... Что пожелаете, тетушка? Кофе? Чай?

Но Чапларне не слышит этих вопросов. Она видит покотившуюся мимо иллюминаторов землю, убегающие и пропадающие из глаз деревья и дома, теперь под ними уже только белые, как сбитые сливки, облака. Бесконечная синева вверху и бесконечная белизна внизу. И Чапларне вдруг кажется, что самолет несет ее не в Будапешт и не в Шомошбаню, а куда-то еще — в прежние грезы, домой, в большой дом в Ференцвароше — самом шумном районе Будапешта, где у нее квартира с окнами во двор, дочь-подросток, два взрослых сына и муж, ворчливый, но, в сущности, добрый человек. А потом была война, бомбежка, и нищета, и безработица. Не на что было даже починить старую обувь. Тогда Чапларне была молодая и на всю семью варила пустой суп, без мяса. И был у нее свой очаг.

| ЗВЕЗДЫ

В понедельник Янош все равно приедет домой. Так что можно было бы и подождать, думает Кати, но так она думает, уже сидя в автобусе. За окном зимний пейзаж. Автобус, натру-

женно кряхтя, взбирается в гору, мимо голых, зябко дрожащих на холоде лесов. Собственно говоря, им с Яношем нечего особенно обсуждать. Она скажет: «Ты знаешь, устала я от этой бесконечной войны с ветряными мельницами. Мне предложили работу полегче, как ты думаешь, согласиться?» Янош задумается и кивнет: «Как тебе лучше, сердечко мое.— А потом добавит: — Я вот тоже хотел тебя спросить: перейти мне в группу наблюдения за малыми планетами или остаться на кометах и на переменных звездах?» И тогда уже она закивает и поспешит сказать: «Как ты сам сочтешь нужным, милый». Вспомнился разговор с Иштваном: «Мама, я не пойду в медицинский. Все же хочу стать историком». В глубине души она не одобряет сына. Но как она может решать такие вопросы за него? Кто имеет право давать подобные советы? Был когда-то в ее жизни такой человек, в самом начале начал. Врач. Он мог бы дать совет и правильный ответ на все. А Янош Чизмаш — он хороший, милый, добрый муж. Нежные его слова, объятия полны благодарности, он всегда скажет тебе спасибо и за чистое, свежеевыглаженное, приготовленное на вахту белье, и за недельный запас провианта, и если она просто почистит ему яблоко. А с Иштваном какой он добрый! Как лучший друг. Пишта давно забыл, что он не родной, а приемный сын... И все же, хоть они живут

рядом, вместе все трое, но каждый — в своей скорлупе, наедине со своими желаниями и тайнами.

Ни разу она не была у Яноша в обсерватории. Правда, он и не приглашал ее. А может, на это нужно специальное разрешение? Может, ее и не пустят туда? Впрочем, едва ли.

Еще мало снега, но метель припорошила извилистые улицы села, усыпала серебром крутой склон горы. Дорога обледенела, деревья заиндевели, колючий ветер больно бьет в лицо.

Конечная остановка автобуса — возле бывшей турбазы. Теперь крыша провалилась, второй этаж — тот вообще в руинах, но на первом этаже еще действующий трактир. Время раннее, только четыре часа, но темень — хоть глаз выколи. Улицы безлюдные. Те, кто не засел в трактире и не горланит песни, спешат домой, прячутся по своим норкам. Похлебают супу — и скорей к телевизору.

— Скажите, где здесь обсерватория?

— Так это же на горе! — всплескивает руками шофер автобуса. — Помните, где мы въехали в село? Вот оттуда надо пройти по шоссе назад, до развилки, а потом подняться в гору. Там лес и узенькая такая дорожка. От развилки-то недалеко, в хорошую погоду полчаса. Но сейчас...

— А далеко отсюда развилка?

— Да километра три будет. Тут-то, по селу,

просто: иди и иди себе вниз. Не заблудитесь. А у развилки указатель висит: «АКАДЕМИЯ НАУК, АСТРОНОМИЧЕСКАЯ ОБСЕРВАТОРИЯ». Потом еще один знак будет — «кирпич». Значит, въезд туда на машинах запрещен. Но это только для странствующих монахинь... Уж не собираетесь ли вы туда сейчас?

— Да, собираюсь.

— Одна?

— Не украдут же меня!

— Ну, все-таки для смелости рекомендую пропустить рюмочку рому.

Кати вышла из автобуса и отправилась к развилке. Поначалу идти было нетрудно. На небе показалась луна, туман рассеялся. Но ветер был по-прежнему сильным, холод щипал лицо. Пошел уже шестой час. К семи она не торопясь доберется. Надо только внимательно смотреть под ноги. Вот опять чуть не споткнулась о какую-то палку. Хорошо еще, не упала. Дорога пока идет вниз, но полно всяких кочек и выбоин. Мимо едет какой-то грузовик. А что, если Яноша нет в обсерватории?! Взял да и поехал на машине в ближайший городок. Или программа изменилась и он уже вернулся в Будапешт... Но все эти мысли крутятся у нее в голове почти автоматически, как в полусне. Она переставляет стынувшие ноги и медленно плетется вперед. Надо добраться поскорее до развилки! Вот появился и указатель. Дорожка вверх, тоже

асфальтированная, но очень узкая. Воображение рисует ей, как красиво здесь летом. Сейчас тоже красиво, но есть что-то угрожающее в этом зимнем пейзаже. Светятся под луной усыпанные инеем деревья, хрустят ветки под ногами.

Затем лиственный лес сменяется хвойным — стройные елочки вдоль дороги. Лунный свет уже не может пробиться сквозь них, луна выныривает только на поворотах дороги. В тяжелой, морозной тишине лишь иногда просвищет ветер или хрустнет ветка. Кати идет долго. Может, заблудилась? Может, ей страшно? Ну кто обидит ее здесь? Кто? Да кто угодно! Наверное, тут и волки есть. И кабаны. Или какой-нибудь пьяный бродяга. Убьет, чтобы снять с нее часы или пальто. Она и не думала, что обсерватория так далеко от села. Пять минут — всегда говорил Янош. Ну конечно, пять минут! Только на машине. На ее часах светящийся циферблат. Ой, стрелок не видно! Но не сотню же лет карабкается она по этой ледяной дорожке? А если там, дальше, снова развилка? Или дорожка вообще обрывается в лесу? А если она заблудилась? Какая глупая затея! Ну разве так поступают разумные взрослые люди? Может, вернуться? Зачем? Куда? До утра все равно не будет автобуса до Будапешта. Она карабкается, ей то холодно, то жарко. Но останавливаться нельзя. Нельзя останавливаться! Неожиданно в голову

приходит мысль о брате. Йошка, милый Йошка. В двадцать три года он погиб на войне в излучине Дона. Может, так же вот тащился через снега?

Она и не верит своим глазам, когда неожиданно лес расступается. На огромной поляне красивый дом из нетесаного камня. На воротах доска с надписью «ОБСЕРВАТОРИЯ». Рядом строгое предупреждение: «Вход воспрещен».

Но дверь без усилия поддается. В просторном холле горит свет, пышет жаром камин, онто и нагревает большую комнату, куда ведет дверь из холла. Комната похожа на читальный зал библиотеки: полки с книгами, журналами, кресла, телевизор, радио. На столе — шахматная доска.

— Добрый вечер, — здоровается Кати, но никто не отвечает.

Она идет дальше: спальни, ванные комнаты, чьи-то тапочки, купальные халаты, бритвенные приборы. На кухне электрическая плита, большой обеденный стол, вокруг несколько стульев. На полках — тарелки, ложки. Холодильник, полный всяческой снеди. Кати узнает свои кастрюльки. И нигде никого. Семь гномиков ушли работать в заколдованный лес, оставив открытым маленький домик, чтобы Белоснежка могла прийти в него, прибраться. Да, немытой посуды много. Кати не знает, что делать. Искать Яноша? Или лучше перемыть посуду

и дожидаться здесь, в тепле, пока он не появится? Усталая, она присела на минутку в читальном зале. И почти задремала, когда вдруг раздались гулкие шаги, в холле появился усатый гигант — в валенках, в тулупе, в меховой шапке — и удивленно уставился на Кати.

— Откуда вы здесь? В такую пору?

— Добрый вечер. Я жена Яноша Чизмаша.

— Целую ручку. Ласло Хорват. Яни сегодня дежурит ночь у главного телескопа. Он вернется только утром.

— А я могу подняться к нему? Не помешаю?

— Да он счастлив будет! Только не в таком виде. Там вы замерзнете. Надевайте валенки и вот этот тулуп. Не очень элегантен, длинный и тяжелый, но ничего не поделаешь! Шапку, к сожалению, дать не могу, потому что другой у меня нет. Спорю: такого зрелища вы еще не видели!

— Конечно, не видела.

— Но вы наверняка проголодались?

— Нет, спасибо. Ни капельки. Так вы мне покажете, куда идти?

— Я отведу вас.

— Не беспокойтесь, вы только скажите, куда идти.

— Ну, это не так просто, — возражает гигант и смеется.

Крутая лестница с обледенелыми ступеньками на обледенелом склоне холма. Нужно крепко держаться за перила. Там, где они есть. Кати холодает от страха. А Янош, у него же протез, как он-то карабкается по этим ступенькам? Но спускаться еще труднее! И ведь ни разу и словом не упомянул о том, что... А Кати всегда представляла, что эта обсерватория — уютный дом с вычислительными машинами, книгами, а на крыше — раскрывающийся купол. Стоит только нажать кнопку, и в небо уже нацелен телескоп... А что вот так, что нужно одолеть сотни и сотни обледенелых ступенек по крутому горному склону! И это каждый раз: вверх! Вниз!

Она не смеет признаться, что устала, выдохлась, что больше не может, и молча карабкается вверх, вслед за астрономом.

Но вот-наконец-то в лунном свете засверкала серебряная полусфера.

— Теперь возьмите вот этот карманный фонарик. Без него вы не найдете дорогу, — говорит Хорват. — Прошу.

— Спасибо, но ведь мы уже почти пришли.

— О, до «пришли» еще далеко! Это только телескоп Шмидта.

— И вы из-за меня еще раз проделали такой путь?

— Ничего. Мы по несколько раз в день ходим туда и обратно.

Кати чувствует страшную усталость, но теперь это усталость Яноша. Это он сейчас карабкался на холм, спотыкаясь и падая, падая по многу раз... Они добрались до помещения с большим телескопом, потом шли по узким коридорам и снова по узким лестничкам, мимо маленьких комнат, где жужжали какие-то машины и щелкали инструменты, пока наконец не вступили в большой зал. Над ним — раздвинутая посередине куполообразная крыша и ледяной холод, а в этом холоде за пультом управления среди сверкающих и мигающих огней и кнопок сидел закутанный в тулуп, в валенках и меховой шапке мужчина.

— Янош!

— Катица!

Янош, насколько это возможно в тулупе, обнимает ее, нежно гладит и смеется. Какая радость, какой сюрприз!

— Тебя кто-то привез на машине? Ну гляди, разглядывай, я тебе все покажу. И земные часы, они нужны, чтобы телескоп двигался по кругу, как Земля. Сегодня великолепная погода для наблюдений. Хочешь взглянуть на Марс и на Луну? Покажутся тебе совсем рядом. Увидишь кратеры, горы! И покажу тебе, как делаются фотоснимки. Теперь наша работа уже больше не такая романтическая, как во времена Галилея или Кеплера. Здесь не мы разглядываем небо, это за нас делает фотоаппарат. А мы

считаем, считаем... Ну, и делаем спектральные анализы.

Зазвонил телефон.

— Чизмаш слушает. Сервус. Спасибо. Все о'кей. — Мы ночью по нескольку раз звоним друг другу, — поясняет Янош. — Ты видишь сама, здесь все открыто, может кто угодно прийти и напасть на меня. Ну, что ты так перепугалась! Конечно, никто не нападет, ты же знаешь, но мало ли... А то, бывает, волки забегут на станцию. Или в таком холоде вдруг уснешь и окоченеешь. Ну, и, наконец, эти инструменты, приборы — все под высоким напряжением. Могут быть короткие замыкания. Поэтому мы обязаны перезваниваться во время вахты, чтобы никто не чувствовал себя в одиночестве, заброшенным во Вселенной, где плывешь один-одинешенек на маленькой льдинке. А знаешь, как успокаивает одна мысль о том, что мы можем рассчитывать друг на друга! Какую-то уверенность придает... Хочешь хлеба с салом? У меня здесь и термос с черным кофе. Налить? Здесь никак нельзя засыпать. Позвонить Лади Хорвату, чтобы он пришел потом за тобой? Сам я не могу отойти от телескопов.

— Что ты! Я не усну, я хочу с тобой побыть, а ты рассказывай, рассказывай о своей работе.

Они пили кофе, иногда Янош вставал, проверял что-то в приборах, подкручивал, менял на-

садочные кольца, объективы. Кати вспоминала, как задумывалась в юности над тем, что Вселенная расширяется, и удивлялась: как это — «расширяется», если она и так бесконечна? И как это может быть, что между звездами находится какое-то вещество, если расстояния между ними измеряются миллионами световых лет... Янош смотрит на вычислительные машины без всякой торжественности, словно все эти телескопы и прочие механизмы — обычные верстаки или заводские станки и он зажимает Вселенную в обычные тиски на этом своем верстаке. А затем одним движением вынимает пластинку из фотоаппарата, словно на снимке не кусочек Вселенной, а, скажем, лоскуток ткани, снятый с ткацкого станка.

— Кати, ты гляди не усни!

— Нет-нет, что ты!

— Хочешь, я расскажу тебе, как шлифуют такие огромные линзы? Или объясню устройство телескопа.

— Янош, а тебе никогда не бывает страшно?

— Страшно? От чего?

— Ну, от всего этого? Как велик небосвод, или Вселенная, что ли...

— Когда я только стал астрономом, я действительно содрогался от одной мысли об этом. Но сейчас меня интересует только та крохотная частичка, которую составляет моя собственная

работа. Здесь, на этом месте, должен сидеть я и правильно, точно считать...

Кати посмотрела на худощавое лицо Яноша. На его синие-синие глаза, натянутую по самые брови меховую шапку. И на эти неуклюжие валенки, в одном из которых протез. Подумала: как же это он по многу раз взбирается в обсерваторию по этим обледенелым ступеням? И неужели сюда заходят волки?

— Ты мне так и не сказала, кто тебя привез сюда.

— Никто. Сама приехала. На автобусе.

— И через лес одна шла?

— Я здесь, а остальное неважно, правда ведь?

И в этот момент Кати решила: не нужно ей никакое воскресное приложение. Она будет бороться. Бороться решительно, не отступая! И ни слова не скажет обо всем этом своему Яношу.

| СОН

Вот уже много месяцев она видит один и тот же повторяющийся сон. Ей снится, что она открывает дверь. Куда же она хочет войти? В кабинет диагностики? Или в палату? И вдруг оказывается в складском помещении. Темно, воют сирены... Когда она увидела этот сон впервые? Да, в самом деле, когда? В тот день, когда так

глупо повздорила с доктором Дяпаи?

...Это было примерно в половине второго. Она шла по коридору к столовой в надежде, что, может быть, еще что-нибудь получит на обед.

Дверь одной из палат была полуоткрыта, и она услышала сердитый голос, злорадный смех. Что там происходит?

В палату на четверых было втиснуто девять кроватей, возле одной стояла медицинская сестра Тереза, держа тарелку с блинчиком, и возмущенно, а вместе с тем торжественно докладывала доктору Дяпаи:

— Если бы я не пресекла это безобразие, она бы и второй блин слопала!

— Возмутительно! — поддержал ее молодой доктор, известный тем, что после обеда он обычно отправлялся в буфет и съедал там шесть «наполеонов» или шесть эклеров. — Эти диабетики вечно воруют и лгут. С диабетиками нужно построже, в ежовых рукавицах приходится держать...

Виновница происшествия, которая «ворует и лжет», съела блинчик. И теперь, бледная от страха, худющая, потная, со спутанными волосами, отвернулась к стене, делая вид, что все это к ней не относится и она не понимает этих сыплющихся на нее оскорблений, даже не слышит их.

Остальные больные злорадно хихикали.

Одна из них — тучная печеночница — подлила масла в огонь:

— Она и у меня вечно все цыганит. То сахар, то хлеб.

Агнеш подошла к больной, погладила ее по влажной щеке, попросила закрыть глаза. Глазные яблоки были твердые как камень.

— Верните ей блинчик, а мне дайте иглу. Надо взять кровь на сахар.

Тетушка Тормаине недоверчиво взяла блинчик. Конечно, Агнеш Чаплар здесь начальница, но Дяпаи и старшая сестра — тоже начальство, да еще непосредственное. Сейчас командует заведующая отделением, но когда она уйдет... Больная с жадностью проглотила блинчик, одновременно протянув левую руку для взятия анализа.

— Попросите сразу же ответ.— И Агнеш передала пробирку сестре Терезе.— А вас, доктор Дяпаи, попрошу ко мне.

В кабинете Агнеш Дяпаи прямо с порога перешел в наступление:

— Вы опять отчитываете меня перед больными? Как же я буду теперь поддерживать дисциплину в отделении?!

— Никак. Здесь не казарма и не тюрьма. И ваше дело не дисциплину поддерживать, а лечить больных.—

— Одно без другого...

— Садитесь. Дисциплина, а вернее, поря-

док должен обеспечивать лишь успех лечения. Если вы до сих пор не знали — запомните: нет в больнице такой иерархической пирамиды, где наверху стоят господа доктора, на следующей ступеньке — обслуживающий персонал, а в самом низу — жалкие больные, которым могут приказывать все. Мы не имели бы такого права, даже если бы могли, как чудотворцы, исцелять всех больных на свете.

— Я бы попросил!..

— Просите. Но не у меня. А у больных. Извинения. За то, что вы бросили больному диабетом упрек, что он лжет и ворует. Вы сами когда-нибудь болели диабетом? Испытали, что такое всю жизнь сдавать анализ крови на сахар? Знаете, что это за мука — взвешивать каждый кусочек хлеба и никогда ни крупинки сахара, ни капельки варенья, ни порции мороженого? Бедный старый пенсионер не может утолить голод одним мясом. А если у него и холецистит, так ему даже салат нельзя! Или тот, у кого к диабету еще больны и почки и ему нельзя употреблять белков! А диабетики с язвой желудка! Им вообще все запрещено, запрещено и запрещено. Приходится придумывать диеты, которые и выдержать-то невозможно. Меньше жидкости — говорит кардиолог, больше жидкости — приказывает уролог. Сколько лет медицина страдала манией, что излишки липоидов — причина склероза. И запрещала яичный

желток и свиной жир. С утра до вечера у больных измеряли уровень холестерина. И вдруг выясняется, что животные жиры жизненно необходимы человеку! И что у тех, кто вообще не употреблял жиров, тоже поднимался уровень холестерина. А новейшие исследования диабета показали, что с физиологической точки зрения нет разницы между природными сахарами и углеводами.

В дверь постучали. Это медсестра Тереза принесла результат анализа и, красная от смущения, положила листок перед Агнеш. Сахар у Тормаине — 38! Гипогликемия на грани комы!

Агнеш молча протянула бумажку доктору Дяпаи.

— Наверное, переборщили с диетой... — бормочет он. — Надо немедленно сделать инфузию.

— Не надо никакой инфузии. Сначала наорем на больного: строгая диета, не ныть, не жаловаться, соблюдать неукоснительно! А промахнулись — сразу инфузию! Зачем лишний раз колоть больную? Дайте ей стакан фруктового сока и кусок хлеба с маслом. А вообще я сейчас гоже загляну к ней.

На столе зазвонил телефон.

— Сервус, Геза. Да. Конечно. К трем. Не сердись, я еще и не обедала...

Агнеш положила трубку и встала. Проходя

мимо процедурной, услышала из-за закрытой двери резкий голос доктора Дяпаи:

— У старухи не ладится семейная жизнь. Вот она и срывает на мне зло...

...Агнеш вспыхивает. Проходит мимо. Нажав дверную ручку, переступает порог, и вдруг все исчезает — Тормаине, больничная столовая, доктор Дяпаи. Только полумрак, и воют сирены. Да где-то вдали сверкают огни, доносится глухой гул и взрывы. Война, бои за Будапешт. В кране нет воды, а ей нужно скорей домой, проверить, как Ева приготовила уроки. Нужно домой, там ее ждет Геза. Я сплю, думает Агнеш, потому и не могу навести порядок в своих мыслях и делах. Опускается самолет. Он сейчас как раз над складом, очень низко, крыльями чуть не задевает крышу, и рев его заглушает все остальное. Это самолет, который уносит ее в Гонолулу, на нем можно улететь из ее прежней жизни. Геза преподносит ей большой букет разноцветных гвоздик — свадебный букет. Но, кроме двух свидетелей, на свадьбу никто не пришел. Мама уехала в Шомошбаню. Яни-младший решил остаться с отцом. Тогда, в кондитерской «Серебряная ель», какой хорошенький он был в своем новом синем пуловере! «Где я буду теперь спать?» — «А где ты бы хотел спать, сынок?» — отвечает ему вопросом Яни-старший и берет руку мальчика в свою. Сердце Агнеш забилося сильно-сильно. «Там,

где раньше», — скажет, наверное, мальчик или: «С мамой». Но глазки Яни-младшего смотрят в карие глаза отца. Маленькие ручонки ощущают надежность мужской ладони, и он говорит: «Там, где ты, папа». «Я тоже так думаю, — кивает отец. — Вместе с бабушкой переедем в Шомошбаню. Тетя Илона одна живет в большущей квартире. Там и для тебя место будет. И в школу там пойдешь, а потом в гимназию, в городе Уйбаня, на велосипеде или на автобусе туда будешь ездить, хорошо?» Агнеш не смела дажедохнуть. Пока она парила на крыльях новой любви, она и думать не могла о каких-то серьезных решениях, ей нечего было ответить на безмолвный вопрос во взгляде матери. И вдруг все решилось само. Где-то в глубине души она понимала, что должна была запротестовать и что теперь она окончательно расстается с сыном и матерью, что решение ее мальчика, ее сыночка, — это обвинение ей и упрек. Но это было такое удобное решение, и теперь она попросту могла сказать: «Ну, как хотите» — и поменять стандартную квартиру на проспекте Нормафа на половину виллы в Буде, оставив старую мебель Яни и маме. В глубине сердца она понимала, что и Геза тоже должен был хотя бы приличия ради сказать, что третья комната предназначена для Яни-младшего и бабушки: если они захотят, то могут в любой момент переехать к ним... И когда решили, что бабушка четы-

ре месяца в году будет жить у них, Геза должен был предложить ей эту комнату, а не каморку за кухней, которая остальные восемь месяцев используется как кладовка.

Яни-младший теперь иногда приезжает к ним из Шомошбани погостить. Но это все так хлопотно... Яни уже большой парень, и его не поместишь в одну комнату с Евой. Да и кроватей мало. Так что чаще Агнеш сама ездит к ним туда, в деревню. Вначале бывала каждую неделю, потом раз в две недели, потом... Тетя Илона варит им кофе, показывает, где у нее ломит спину, Агнеш прописывает рецепты, целует Яни-младшего: а ну, покажи, насколько ты подрост? Что у тебя в школе? Ты хорошо себя ведешь, сыночек? Что тебе нужно, скажи?.. Потом самолет берет курс на Гонолулу, взлетает и уносит ее в другую жизнь, где статуя короля Камехамеха II из чистого золота, где туристам вешают на шею гирлянды из разноцветных орхидей, а самолет — Агнеш вскрикивает во сне — начинает вдруг сбрасывать бомбы, небо затягивает черным дымом, тьму прорезает ослепительный свет, и все сотрясается от грохота, качаются стены и рушатся кирпичи, поднимая облака пыли и копоти, чем-то больно ударяет в висок...

Агнеш проснулась вся в поту, страшно болела голова.

Второй раз этот сон приснился ей после то-

го отвратительного случая в гостях у Кати. Ева! Как она могла такое сделать?!

Разумеется, Геза выхлопотал для дочери разрешение на получение водительских прав. Она окончила курсы, изучила правила дорожного движения и устройство двигателя внутреннего сгорания. И ни о чем больше не говорила, как только о марках автомашин. В день успешной сдачи экзамена Геза подарил ей свой старенький «фольксваген». Ева тут же помчалась к телефону, позвонила Кати, своей крестной, сказала, что в субботу после обеда будет демонстрировать им свой автомобиль и мастерство вождения, и под конец, как о чем-то незначительном, спросила, будет ли дома Иштван.

Конечно, в больнице и в субботу множество дел. Воспаление легких и приступы аппендицита вообще не считаются с днями недели. Но Агнеш все же удалось освободиться в середине дня. Конечно, она была счастлива, она радовалась вместе с Евой и Гезой и подавляла свои вечные страхи. Другие подростки в шестнадцать лет ездят на велосипедах с подвесными моторчиками, для которых вообще не требуется прав и разрешений.

— Пожалуйста, мама, ты садись сзади, а ты, папа, рядом со мной. — Ева вежливо распахнула дверцу автомобиля, позвякивая колечком и ключами зажигания. Вместо брелока у нее маленький трубочист и крохотная подко-

ва на счастье.— Прощу, прощущу!— И она встала ключ.

— Нет, погоди,— остановил ее Геза.— Сначала, будь добра, перечисли: что ты делаешь перед тем, как тронуться с места?

— Включаю зажигание, отпускаю ручной тормоз, выжимаю сцепление...

— А еще раньше?

— Включаю зажигание, отпускаю ручной тормоз...

— А может быть, все-таки сначала убедись, не стоит ли машина на скорости, посмотришь назад и подашь знак поворота?

— Да, да, папа! Это же совершенно естественно. У прирожденного автомобилиста это все в крови.

— У автомобилиста, но пока еще не у тебя. Так что же ты делаешь сначала?

Наконец с теорией было покончено, настало время практики. Ева мягко тронула машину с места, но руки ее судорожно сжимали руль, глаза были выпучены, по лицу струился пот. Пока они приедут на место, шею у нее сведет от напряжения. Геза и Агнеш вели машину вместе с дочерью. Мысленно. Агнеш, понятно, не вмешивалась, но под ложечкой у нее ныло. То и дело хотелось сказать: «Ева, осторожно! Вон тот мальчик сейчас шагнет на мостовую... Ева, не подъезжай так близко к автобусной остановке, осторожно, девочка, осторожно!...»

Но она молчала и перевела дух, только когда подъехали к Катиному дому.

— Я и не думала, что вы все втроем прикажите! — всплеснула руками Кати, выбежав им навстречу.

— Я тоже не думала, что вы все втроем окажетесь дома, — засмеялась в ответ Агнеш.

— Тетя Катица, можно мы с Иштваном сделаем один кружочек? — спросила Ева.

— Как хотите. Но только после ужина, ладно?

Катино семейство живет все в той же квартире на Юллейском проспекте. Может быть, когда женится Иштван, они разменяют эту квартиру на две поменьше. Хорошо бы поселиться в Буде, на свежем воздухе.

— Агнеш, пойдём делать бутерброды! Мы сто лет не общались!

— Иду! Только прежде позвоню в больницу.

При этих словах Ева вдруг стала пунцовой до корней волос.

— Мама, пожалуйста, не звони в больницу. Ты же обещала мне, что мы сегодня после обеда поедём с тобой по магазинам. А у тебя одна только больница на уме! Ты считаешь, что поправляются только те, кого лечишь лично ты. А другие лишены всякой совести, ничего не хотят делать!..

Агнеш удивленно подняла голову. Она,

правда, и раньше слышала от дочери подобные «выступления». Но так дерзко, почти с истерикой — что-то новое.

— Дочь моя, — возразила Агнеш спокойно, набирая номер, — в больнице много врачей, и среди них много врачей хороших, и дежурный есть, но меня все равно волнует, не случилось ли в моем отделении чего-нибудь, нет ли каких проблем, хорошо ли чувствуют себя тяжелые больные. Алло? Будьте добры, второе терапевтическое! Доктор Теглаш? Привет, Марика, это Агнеш. Конечно, конечно, я. Что значит — *уже* нет проблем? Значит, были? Когда? Ты звонила без четверти три? Не понимаю, чепуха какая-то! С кем ты говорила? С моей дочерью, с Евой? Что, и мужа моего не было дома? Ну, может быть, в ванной... А сейчас как она? Дыхание? Что ты ей дала? Давление? Нужен еще кислород? Ну конечно, я сейчас же приеду. Десять минут, и я с вами. Сервус!

Агнеш положила трубку и впилась взглядом в лицо Евы. Та побагровела еще сильнее, потом сразу же побледнела и отвернулась от матери.

— Ну убей меня, убей! Ты и так не хотела, чтобы я родилась. Так что теперь раз и навсегда покончишь с этим вопросом! Я, да, это я говорила с той нахалкой! Да, сказала, что ты уехала. Не знаю куда. В конце концов, у тебя уик-энд. Ты на этой неделе уже отпахала свои пять дней. Разве не так?

— И ты все это ей сказала?

— А что? Только это, и ничего другого. А она положила трубку. Как-как! Молча! И из-за этого...

Наступила мучительная тишина.

— Доченька, никому и никогда нельзя лгать, что кого-то якобы нет дома, если он на месте,— сказал расстроенный Геза.— В конце концов, врач...

— Ты же сам хотел выдернуть этот вонючий телефон! А то они обнаглели, даже по ночам мать вызывают!— кричала Ева.— Да, да, именно так ты сказал!

Агнеш подошла к Еве и схватила ее за ворот. Мгновение смотрела ей в глаза, потом отпустила.

— Я бы дала тебе пощечину, но не хочу даже прикасаться к тебе!

— Крестная, можно я отвезу тебя в больницу?— спросил Иштван.— Папа, я возьму твою машину?

Ева стояла багровая как свекла: больше никого не интересуется ни ее автомобиль, ни новенькие водительские права. Даже отец не смотрит на нее. А Иштван демонстративно отвернулся.

— Спасибо, не надо. Я возьму такси,— возразила Агнеш.

— Пойдем, тетя Агнеш, я отвезу тебя и подожду у больницы.

Пока они ехали, Агнеш так и не смогла успокоиться. Ей хотелось сказать приятное Иштвану: что он стал взрослым, что им нужно чаще встречаться домами... Но она чувствовала: заговори она сейчас — не сможет удержать слез.

— Да не сердитесь вы на нее, тетя Аги! Она же еще ребенок, — после долгого молчания сказал Иштван.

— Шестнадцатилетняя девица далеко не ребенок. Просто мы плохо воспитали ее. Она эгоистка. В этом вся беда. Слишком много давали ей. Да не только она такая, все ее почтенные одноклассницы! Вся эта банда. Пацанкам тринадцать-четырнадцать лет, а родители буквально засыпают их вещами. Что им еще остается? Выпивка, сигареты, спортивный секс и наркотики. Они смотрят детективы по телевизору и сами совершают такие же преступления, как в кино. Совершенно безответственное поколение! Они не знают ни цели в жизни, ни своих обязанностей.

— Ну, а какую цель они могут знать, тетя Аги. Все — одну?..

| *МЕМОУАРЫ*

У доктора Эдена Жилле, участкового врача из села Харшашганя, на калитке не было звонка. В часы врачебного приема калитка была от-

крыта, в другое же время он не принимал, даже если человеку отрезало поездом ноги или он обварился кипятком. Близкие друзья знали о существовании «черного хода» — со двора сельского совета, а потому доктор преспокойненько валялся на диване, слушая, как кто-то дубасит в калитку: сначала кулаком, потом камнем, а под конец даже железякой. Поняв бесплодность своих усилий, незванный гость принялся орать благим матом:

— Эй, Эден! Это же я, твой родной дядя Норберт!

Доктор Жилле неторопливо поднялся с дивана, снял ключ с гвоздя, натянул башмаки и вразвалочку прошел через двор.

— Опять ты?

— Опять?! — возмутился Норберт. — Так ведь с тех пор уже три года прошло!

— Боже, как летит время! Ну, вползай, старикан. Интересно, во сколько твой визит обойдется мне на этот раз. Вы посмотрите, как он элегантен! Что, сопутствует удача?

— Не жалуюсь.

— Значит, я могу отнести данный визит исключительно на счет твоих родственных чувств?

— Вполне. Но хотя бы водочки-то глоток у тебя найдется?

— И не один! И колбаска, и перчик маринованный. Мало того, можешь переночевать

у меня ночки две, а то и три.

— Увы, завтра же утром должен уехать. Много, очень много дел. Пришел только за пишущей машинкой.

— За какой еще машинкой?

— За «ундервудом». На которой я труд свой ученый писал — о социалистическом этикете. Помнишь?

— Разумеется! Помню даже, как ты печатал на ней документы якобы конторы каменного карьера. Истребуй машинку в суде, ведь ее приобщили к делу как «вещдоказательство».

— А! Совсем вылетело из головы! — пробормотал Норберт Жилле. — Я почему-то считал, что она у тебя осталась. Извини за промашку. Как это я запамятовал? Фантастика!

— Не бери в голову. Пустяки.

Но Жилле помрачнел, огорчился. Ведь последнее время у него все так хорошо складывалось. Кремпельс в самом деле жил так, как рассказал Пацауэр, и даже лучше. Когда Норберт Жилле явился с визитом, у Кремпельса суетилась съемочная группа с телевидения. Какой-то молодчик вертел его то так, то эдак, чтобы поэффектнее усадить за письменным столом на фоне книжных полок. Потом этот кадр все равно пришлось вырезать, поскольку выяснилось, что герой Сопротивления на книжной полке возле стола держал только порнографическую классику. Молоденькая девица припылила фи-

зиномию Кремпельса коричневой пудрой. Множество людей без толку сустились по комнате. Госпожа Кремпельс внесла на большущем подносе тарелку пончиков и черный кофе. Кремпельс представил Норберта Жилле одному из главных распорядителей: «Мой друг, отличившийся в Сопротивлении, бывший генерал и заместитель министра». «Сейчас будем снимать, — ответил на это распорядитель, — только я вас прошу: в полном соответствии со сценарием». — «Тогда приходи, Норберт, завтра... Нет, не завтра, завтра у меня лекция для новобранцев. Послезавтра — тоже не годится: я обедаю у Пацауэров. Может, во вторник?»

Во вторник они все обсудили. Кремпельс сказал, что рукопись нужно сделать в трех экземплярах, на машинке. Поэтому Норберт и приехал в Харшаштаню. Теперь все зависит от машинки...

— Угу, ясно. А позволь полюбопытствовать, о чем ты собираешься писать?

— О чем? Да у меня уже все написано. О моем прошлом. Ты что же, не помнишь, что я был генералом и заместителем министра? Да я почти в одно время с дебреценским правительством приехал в Будапешт, и мои заслуги в мирных переговорах признаны всеми.

— И это ты мне рассказываешь? — изумился Эден.

— Нет. Просто так я пишу в своей книге.

— Ну тогда другое дело, сэръ! Потому что я собственными ушами слышал, как ты в сорок пятом излагал свою «Оборонительную позицию сжа». Чтобы отсидеться некоторое время, пока существует новый строй, и постоянно атаковать государственный аппарат, поскольку нынешние чиновники настолько глупы и неграмотны, что не умеют даже расписаться...

— Ну, такого я, допустим, никогда не говорил. Я всегда был реальным политиком, и у меня есть достойные свидетели, которые подтвердят, что я принимал участие в движении Сопротивления.

— Не выдумывай чепухи! Младенец — и тот не поверит околесице, которую вы там несете в своих мемуарах. Тоже мне участник Сопротивления! Смех, да и только! Твой Паланкай сбежал на Запад с фамильными драгоценностями и вернулся, только когда промотал все до последнего медяка. Сколько ты платишь его превосходительству Арманду Карлсдорферу за то, что он рассказывает тебе байки для твоих «мемуаров»?

— Я? Это он платит мне, что я вставляю его имя в эпизоды Сопротивления! Поскольку затем он сможет написать свои собственные мемуары, ссылаясь в них на мое свидетельство... Эден, а ты не хочешь, чтобы я упомянул в своей книге и о тебе? Как родственнику сделаю скидку. В конце концов, ты же вполне мог участво-

вать в Сопротивлении.

— Ни в коем случае! Помнишь, как я тебя от каменного карьера отговаривал? Сиди и не высовывайся!

— Уверю тебя, на сей раз дело совершенно чистое, без всякого риска.

— Тебе видней. А машинку возьми напрокат.

— Очень дорого.

— Сколько просят?

— Не знаю. Наверняка не меньше двух сотен в месяц. Да еще залог.

— Ладно. Получишь у меня ужин, завтрак, сухой паек на дорогу и бутылъ вина. Билет на поезд и тысячу форинтов — оплатить прокат машинки. После этого мы друг друга не знаем.

— Мальчик мой, я пришлю тебе экземпляр своей книги с дарственной надписью!..

— Буду счастлив.

| ОРЛАИ

За ужином Геза сообщает:

— Я сегодня был у главного редактора «Новостей терапии». Она ждет тебя.

— Меня?

— Тебя, — повторяет Геза и едва заметно улыбается. — Мария Орлаи.

Нож падает у Агнеш из рук.

— Орлаи? Она здесь? Дома?

— Да.

— А я и не знала. Я думала, она где-то в Индии. Или в Южной Америке.

— Когда тебе заниматься светскими сплетнями! Уже два месяца, как вернулась.

Агнеш пропускает мимо ушей иронию.

Это же замечательно! Она снова увидится с Марией. Сколько лет она могла только из газет узнавать о ней!

Орлаи сделала блестящую научную карьеру. Мария Орлаи прочитала лекцию в нью-йоркской больнице «Маунт Синай». Марию Орлаи пригласили в Колумбийский университет. Орлаи избрана почетным доктором университетов Беркли и Нью-Дели. Орлаи совершает поездку по Индии, Австралии, Бразилии. Мария Орлаи — директор Института эндокринологии, президент Терапевтического общества, член-корреспондент Академии наук, депутат парламента... Теперь Мария Орлаи так далеко и высоко, что о ней можно только прочитать в газетах или услышать по радио. Так вот и разметала их жизнь в разные стороны. Может, если бы Агнеш заглядывала к ней хоть изредка... А и в самом деле, почему она не навещала ее? Мария-то в тысячу раз больше занята...

И по сердцу Агнеш разливается тепло. Радость воспоминаний охватывает ее. Откуда-то

из глубины памяти выплывает внимательное, серьезное лицо Марии — она обследует больного; а вот лицо задумчивое — это она склоняется над микроскопом; приветливо-дружеское — она спрашивает: «Понятно? Справишься? Есть хочешь? Не очень устала?» — и решительно-отчаянное лицо, когда она стоя сносит побои озверевшего нилашиста¹ Жилле. Вот Мария Орлаи показывает умирающему Иштвану Ачу чужого младенца, чтобы хоть на миг порадовать его. Мария знала, что в ту ночь Аги не выдержит, если останется одна, и позвала ее к себе в кабинет: «Давай посидим, поговорим, выпьем кофе. В такую ночь невозможно заснуть». Орлаи — пример, идеал для нее... Неужели после стольких лет разлуки они снова встретятся?

— Геза, это же просто великолепно! Как ты думаешь, если я заскочу к ней завтра в обеденный перерыв?

— Мама, ты же обещала пойти со мной покупать туфли!

— Хорошо. Конечно. Тогда послезавтра.

Геза кивает. Поезжай послезавтра. Вот адрес редакции и прямой телефон к Орлаи в Институт эндокринологии.

Агнеш уже слышала об этом новом институ-

¹ Нилашист — член венгерской фашистской партии (1938—1945).

те, что он стоил страшно много денег и никому не нужен. В конце концов, мы — маленькая страна, а нынче в науке можно чего-то достигнуть только ценой колоссальных затрат, большими, хорошо организованными коллективами ученых. Но, конечно, есть руководители, которым правительство ни в чем не отказывает, хотя в это же время в общественных больницах больные лежат прямо в коридорах, на продавленных матрацах, нет приличных игловок для инъекций и так далее. Говорили, правда, что этот институт построен Всемирной организацией здравоохранения на деньги ЮНЕСКО, словом, много всяких сплетен ходило о нем. А один иллюстрированный журнал опубликовал фотоснимок нового здания института.

Агнеш звонит по прямому телефону. Но трубку все равно снимает одна из секретарш. Говорит, что на прием к товарищу профессору Орлаи нужно записаться предварительно. Следующий понедельник подойдет? С двенадцати тридцати и до двенадцати сорока пяти.

Это слегка остужает Агнеш, но тут же в голову ей приходит оправдание: у Марии такая уйма дел! Институт — это тебе не кафе и не частный магазинчик. Да и пятнадцать минут хватит с лихвой, чтобы спросить: как дела, Мария? Что нового? Рада снова увидеться.

У входа улыбающаяся молодая женщина в белом халате. Провожает ее к лифту, заходит сама. Улыбается, но ни слова не говорит, только показывает, куда идти. К двери директорского кабинета проложена ковровая дорожка. На двери табличка с одним-единственным словом: ОРЛАИ. Скромно, но не без претензии, словно это кабинет Гёте или доктора Спока.

В первой комнате — секретарь. Она вежливо, с поклоном поднимается, проводит в следующую. Там уже три молодые дамы бойко стучат на машинках. Здороваются. А вот и собственно кабинет, обставленный современно и скромно. Распахнутая дверь ведет из него во врачебный кабинет, для обследования пациентов, где стены не традиционно белые, а модно зеленые. Секретарша лишь открывает дверь к Орлаи и исчезает. Из-за стола поднимается очень красивая смуглая молодая женщина, элегантно и одновременно строго одетая.

— Мария!

— Агнеш! Я так обрадовалась, когда Геза сказал, что ты хотела бы у нас работать.

Да нет! Она пришла совсем не потому, что хочет написать в журнал, и нет у нее никаких видов на Институт эндокринологии. Просто хотела повидать Марию и всю ночь не спала из-за воспоминаний: как Мария разрешила ей работать в лаборатории, сопровождать на обходах больных, натаскивала ее перед экзаме-

ном по физике, помогла получить место в больнице Святой Каталины, как достала супу в тот вечер — для умиравшего Иштвана Ача...

Орлай улыбается, холодновато и с превосходством, и Агнеш сразу вспоминает, что у нее всего пятнадцать минут на визит, так что нет времени на воспоминания и излияния, нужно сразу же сказать, что ей ничего от Марии не нужно, и начать прощаться...

— Выпьешь кофе? — скорее предлагает, чем спрашивает Мария, потому что в тот же миг в кабинете появляется одна из секретарш, на подносе у нее чашечки с черным кофе.

— Когда ты вернулась из Индии?

— Больше двух месяцев.

— Интересно. А Кати ничего мне не сказала.

— Какая Кати?

Агнеш удивленно смотрит на нее.

— Как «какая»? Жена Иштвана Ача...

— А-а... Мы с ней уже, наверное, лет десять не виделись.

Но ведь ты, когда умер Иштван Ач... Он же тебе завещал заботиться о ней и о сыне — хотела сказать Агнеш. Но не смогла.

— ...и даже не говорили. Да, честно говоря, я не очень-то и стремилась к встрече с ней. Каталина Андраш пошла в другом направлении.

— В каком смысле? Она стала известной, выдающейся журналисткой.

— Уже одно слово «журналистка» исключает эпитет «выдающаяся»! Чем она выдается? Что она создает? Что умеет? Есть у нее, наконец, какая-то специальность? Что такое «журналист»? Человек, который совершенно субъективно, раздраженно, а то и зло кричит в газетенке о ничего не значащих мелочах. Придирчиво, не видя существа дела, подстрекательски. Ищет у других соринки в глазу, а сама хочет, чтобы ее поэтом считали. Судит обо всем со своей кочки, имея кругозор болотного лягушонка! Упала в лужу, где полведра мутной воды, и думает, что это мировой океан. Я один раз пыталась поспорить с ней, когда она позволила себе гадкие выпады против организации нашего здравоохранения. Но потом поняла, что это бессмысленно.

Агнеш тщетно пытается вставить хоть слово в этот злобный монолог, возразить: ну какие там выпады? Просто Кати писала, как всеильная бюрократия. Когда две трети своего времени врач-практик тратит на написание каких-то никому не нужных бумаг — справок, отчетов, форм. Разве это выпады, если она написала, что у больного при госпитализации берут подписку: мол, он заранее согласен на все исследования и на любую операцию, а затем обращаются с ним, как с ворохом тряпья?!

— Но прежде чем Агнеш успеваешь выговорить первую фразу, Мария якобы машинально смо-

трет на часы, напоминая Агнеш, что ее пятнадцать минут истекают, и улыбается:

— Давай поговорим о более серьезных вещах. О чем ты напишешь в нашем журнале?

— Ни о чем.

— Как то есть ни о чем?

— Я ведь, Мария, тоже сижу в мелкой луже и кругозор у меня, как у лягушонка на кочке. Я лечу больных. С утра до вечера. А сюда я зашла только тебя повидать. Научные публикации — это дело великих людей. Открытия, достойные Нобелевских премий, создаются большими командами ученых. А я рядовой солдат армии врачей. И таковым хочу остаться и дальше.

— Агнеш! Ты великолепна! Ни капельки не переменялась. Опыт таких, как ты, замечательных врачей и нужен нашему институту. Врачей, стоящих у постели больного. Нобелевские лауреаты обрабатывают экспериментальные материалы, миллионы данных, собранные компьютерами. Но есть практикующие врачи, которых не гипнотизируют усредненные данные и статистические кривые. Порознь, каждый в отдельности, делают они свою повседневную работу, не зная о наблюдениях и выводах соседа, не имея возможности сообщать друг другу о новых проблемах, о побочных действиях испытываемого препарата или метода. Сегодня каждый практикующий врач знает или должен

знать, что во время лечения тетраном нельзя давать пациенту молочных продуктов, потому что они снижают действие препарата до нуля. А пока это не выявили, все думали, что возбудитель болезни просто резистентен к тетрану. Японские врачи-практики, или, как ты говоришь, рядовые солдаты медицины, обнаружили это впервые в результате своей повседневной работы. Наверняка и у тебя есть сотни подобных собственных наблюдений, за которые тебе были бы признательны остальные твои коллеги. Я знаю, твой младший брат, Франсуа Чаплар, — профессор в Париже. Мы получили в дар от его института шесть отлично оборудованных специальными аппаратами больничных коек. Три из них мы можем передать твоему отделению, и через месяц ты напишешь в моем журнале об опыте их использования в наших условиях...

Ровно через пятнадцать минут Агнеш вышла из приемной Марии Орлаи. На прощание Мария дала ей три свежих номера «Новостей терапии».

— Познакомься с нашим журналом. Жду.

В комнату секретарш уже входил новый посетитель, чье время было тринадцать сорок пять. Агнеш не могла объяснить себе, отчего у нее вдруг испортилось настроение. Нажимая на кнопку лифта, она вдруг подумала, что угодила в западню и, кажется, предала Катицу.

| ЛИФТ

В комнате Иштвана звонит телефон. Он снимает трубку, но в этот момент Эдина, стоя у него за спиной, целует его в шею.

— Да перестань же ты! — Иштвану и смешно, и щекотно. — Мама, это ты?

Эдина усаживается на столешницу, прямо на стопку машинописных страниц, и принимается болтать ногами. Безалаберна, но хороша! — думает Иштван и говорит в трубку:

— Едешь? Куда? Сегодня не вернешься? Понял, завтра. Да, дома... Весь день.

— И вечером, и даже ночью! — добавляет басом Эдина.

— Не поняла, Иштван, что ты там сказал?

— Буду дома.

— Иштванка, вчера письмо пришло от некой Андрашне Экеш¹. Она зайдет к нам сегодня. Ты извинись за меня, скажи, что я жду ее в понедельник или во вторник. Спасибо. Привет!

— Ни для какой Экешне нас дома нет! Выпьем, закусим и --- в постельку. И до утра не высунем ноги, — поет Эдина, щекоча Иштвана.---

¹ Жена Андраша Экеша. В венгерском языке официальное имя женщины образуется при помощи слова «не» (женщина), прибавляемого к имени или фамилии ее мужа.

У тебя гениальная семья. А моя мамончик, увы, целыми днями торчит дома, как клуша.

— Позвони ей.

— Зачем?

— Вдруг ты только завтра заявишься домой? Предупреди.

— Вот еще! Зачем же так баловать предков?! Первые четыре дня они еще наверняка не побегут в милицию...— И она корчит такую забавную рожицу, что невозможно на нее сердиться. Он смеется и тогда, когда Эдина принимается украшать его комнату.

— Очень уж серая у тебя хата. До тебя у меня был один хахаль, медик, так он в спирту лошадиную ногу держал и человечью пуповину. Очень хорошо смотрелось... А на черные переплеты этим вот книженциям мы наклеим красные кружочки.

— Не-е! Эти ты не трогай.

— Не мешай! Кто из нас изучает дизайн — я или ты?

Ужин тоже готовит Эдина. Перевернув на кухне все вверх дном, она настрогала гору бутербродов с ветчиной и колбасой салями и сочинила какое-то отвратительное пойло из джина, томатного сока, молотого перца и ломтиков лимона.

— Похоже на коктейль «Кровавая Мэри»? Может, добавить красного перца?

Он начинает раздевать Эдину, гладит ее

по волосам, как вдруг раздается звонок в дверь.

— Не выходи! — шепчет Эдина.

— Надо бы взглянуть, кто там.

— Ты такой любопытный?

— Ты же слышала, к матери должны прийти. Запишу, что попросят ей передать.

— А почему ты не заведешь себе телефонный автоответчик? Папа в прошлом году привез такой из Кёльна.

— Ладно. Пусти.

— Если откроешь дверь — поссоримся навеки!

— Эдина, не дурачься.

После второго, уже короткого, звоночка Иштван снимает с плеча ее руку, выходит в переднюю и выглядывает в окно. Перед дверью на галерее стоит седая женщина, опираясь на перила.

— Я — Андрашне Экеш.

— Да, да, входите, пожалуйста. Мама весьма сожалеет... она просила вам передать...

Гостья вглядывается в его лицо и всплескивает руками:

— Боже милостивый, Иштван Ач! То есть, конечно, сын Иштвана Ача. Но так похож!

— Вы... вы знали моего отца?

— Еще бы! Мы же с вашей матушкой в шляпном салоне Галфайне вместе работали...

Она мне жизнь спасла — достала документы на имя беженки. А мое настоящее имя Гизела Керн.

— Да, я слышал о вас. Проходите, садитесь.

— Иштванка, ты скоро? — хнычет в спальне Эдина.

— Не буду мешать, извините ради бога! — смущается гостья. — Я в другой раз зайду.

— Ну что вы! Проходите, пожалуйста.

— Да я и пришла-то, чтобы поблагодарить вашу маму... Передайте ей, пожалуйста, большое спасибо за помощь моей тете. Вдова Морвайне ее зовут. Ей семьдесят шесть, а ее хотели выселить из квартиры. Я вот тут подарочек маленький вашей маме принесла.

— Ишт-ван! — снова доносится из спальни.

Ач-младший краснеет.

Почти насильно он проводит гостью в комнату, усаживает в кресло. Экешне достает из сумки конверт и вынимает любительскую фотографию.

— У Кати наверняка тоже есть такая, но мало ли... А я на днях старые бумаги перебирала и нашла ее. Снимали вскоре после того, как в наше убежище угодила бомба.

Иштван бледнеет.

— Это мой отец? — он показывает на человека в белом халате.

— Да. Доктор Ач — справа. Двое других мне незнакомы.

— Так вот каким он был! — говорит Иштван, чувствуя, что к горлу подкатывает комок.

— Вы никогда не видели этого снимка?

— У нас нет ни одной фотографии отца. Ни одной.

— Не может быть!

— Все его бумаги находились в больнице Святой Каталины, в его кабинете. Нилашисты разорвали и выбросили его документы, бумаги, книги. Мама рассказывала, что потом они собирались сфотографироваться, но он скоропостижно умер. Незадолго до того, как я родился. И не осталось ни одной его фотографии.

— А у его родных? А детские снимки?

— У него не было родных, он же сирота, — проговорил Иштван, все еще не в силах выпустить фото из рук.

— Ну точь-в-точь был как вы. Даже голос. Вам сколько лет сейчас, Иштван?

— Двадцать восемь.

— Ему столько же тогда было.

— Знаю, знаю.

Открывается дверь, в комнату входит Эдина: волосы по плечам, красный кружевной халат.

— Позвольте представить вам мою подру-

гу. Эдина, принеси, пожалуйста, бутерброды и апельсиновый сок.

Эдина недовольно морщит нос. Экешне снова смущается:

— Я приду в следующий раз, когда Кати дома будет.

— Целую ручку! — спешит попрощаться Эдина.

— Если у вас есть время, побудьте, пожалуйста, еще немножко. Я был бы вам очень благодарен, если бы вы что-нибудь рассказали о моем отце. Все равно что! Мне так хочется знать о нем все-все!

— К сожалению, я о вашем отце не много знаю. Слышала, что был он очень хорошим врачом. Больные его любили. И смелым был. Когда нилашисты пришли за ним, бежал через часовню при больнице.

— Да, это я тоже знаю. Но хотелось бы побольше подробностей. Обо всем, что происходило тогда. Вокруг него. Я хочу понять, как могла настолько деформироваться человеческая душа и почему фашизм еще и сегодня творит столько зла...

Эдина вносит в комнату большое блюдо с бутербродами и безмолвно садится.

— Лучше бы все это позабыть, дорогой Иштван.

— Не знаю. Не уверен. Будущее не построишь, пока не поймешь прошлого.

— Не это важно, главное — чтобы новые поколения шли дальше, вперед. Мой дедушка, помню, постоянно рассказывал, как еще его отец воевал в революцию 1848 года, у генерала Клапки. А мой отец был ранен в первую мировую под Добердо. Но когда это было! И кому это сейчас интересно?

— Все это продолжает жить в наших генах, в нашем сознании и наших предрассудках. Если позволите, я сам навещу вас. С магнитофоном. Чтобы вы рассказали, как там у вас шла работа в шляпном салоне. И что случилось с вашей собственной семьей. Раны нагнаиваются, если их не очистить, не установить вину, ответственность. Нужно писать...

— Нет, Иштван Ач! Не делайте этого. Дайте мертвым покой. Хватит мести. Так никогда этому не будет конца. Господи, неужели конца не будет?

— Простите меня! — опомнился Иштван. — Я не хотел вас обидеть.

— Да что вы! Вы не обидели меня. Только все это так свежо...

Иштван непонимающе смотрит на гостью: свежо? Теперь? После стольких лет?

— Вы дрожите!

— Ничего. Все пройдет. И это тоже. — Экешне, она же Гизела Керн, вытирает платком мокрое от слез лицо. — Мне вдруг почудилось, что не вы, а ваш отец сейчас стоит передо мной.

О господи! Слишком тяжелы для меня такие потрясения. Но если хотите, вам я расскажу. На прошлой неделе это случилось. Вы знаете, я гидом сейчас работаю. По образованию я учительница, много лет проработала в сельской школе, вела немецкий, испанский, французский. Там, в селе, и замуж вышла. Но потом муж мой умер, и я переехала в Будапешт. А во время летних каникул сопровождаю туристские группы. Бывают такие «туры памяти»: Лидице, Освенцим, Орадур и другие подобные места. Знаете?

— Да.

— Словом, была у меня на днях такая поездка. Забор из колючей проволоки, бараки, крематорий, общие могилы. На могилах — цветы, горящие лампадки. За оградой лагеря — музей: фотографии, детские рисунки, куча детских игрушек. Зубы, детские очки. И волосы. Целая гора волос — белокурых, русых, черных. Перед музеем — автостоянка, поодаль — буфет, парк с плавательным бассейном, пруд с прогулочными лодками. За прудом девятиэтажный отель, чтобы приехавшие сюда издалека могли и отдохнуть. Думаю, отели есть и в Мекке и в Лурде, даже на поле Ватерлоо. Ведь мир — сплошные поля сражений и кладбища. Отель наш был «суперлюкс», кухня первоклассная. Персонал на восьми языках говорит. Мы приехали автобусом, без ночевки, и должны были

только пообедать в ресторане при отеле. И вот тут случилось...

Эдина жует бутерброд. Иштван слушает, облокотясь на стол, все еще не сводя взгляда с фотографии отца.

— ...Из вестибюля мы должны были подняться лифтом. На табличке значилось: «Не больше шестнадцати человек». Когда я вошла в лифт, в нем уже было человек восемь. А потом ввалились еще десять. Лифт-бой предупреждал на пяти языках: не входите, а то застряем. Но никто на него и внимания не обращал, отпихнули в сторону. Последними втиснулись высокий белобрысый мужчина и худенькая черноволосая женщина.

«Господа, больше нельзя! — снова запротестовал лифт-бой. — Лифт переполнен».

«Тогда пусть официант выйдет! — заорал белобрысый. — Что это за порядки, когда персонал занимает место гостей!»

Тут я заметила, что в лифте действительно стоит официант с полным подносом. Он пожал плечами и вышел из лифта. Двери закрылись. Вы знаете эти двери — как в сейфе, нигде ни щелочки. Лифт пошел, но между третьим и четвертым этажами остановился. Мальчик-лифтер принялся нажимать кнопки, лифт дополз кое-как до четвертого этажа, но двери не открылись. Он снова стал нажимать кнопки, и лифт снова пошел — сначала вверх, потом вниз,

и так несколько раз, нигде не останавливаясь и не открывая двери. Наконец мы встали — теперь между шестым и седьмым этажами. Бой нажал кнопку «тревога», звонок заверещал, но тут же умолк. Погас и свет.

«Я же говорил: застрянем! Почему меня не послушались?» — плаксиво упрекал всех лифтбой.

«Что за тон?! — одернул его кто-то. — Настоящее свинство! У кого есть фонарик? Спички не зажигать! И так скоро воздух кончится!»

Вот тогда-то и началась паника. Те, кто стоял возле дверей, начали барабанить в двери и кричать:

«Помогите! Выпустите нас! Мы же задохнемся!»

Стоявшие рядом со мной белобрысый мужчина и худенькая смуглая женщина разговаривали между собой по-португальски.

«Я тебе что говорил? Надо было сюда ехать! Европа, Европа! Нужна мне твоя Европа!» — ругался он, а жена лишь робко ему возражала:

«Я только цветы хотела положить! В этой земле спят моя мамочка и братец. Разве я собиралась останавливаться в этой паршивой гостинице? Я и раньше не раз застревала в лифте, но никогда не было такой паники».

...Тут зажглись карманные фонарики, сразу

два. Пожилой мужчина обнял плачущую женщину:

«Ольга, не бойся, глупенькая, сейчас придут монтеры и починят. Ничего не случится!»

«Тогда ты тоже успокаивал: ничего страшного, нас везут на работы, не может быть, чтобы венгерских граждан вывозили из страны. А никто назад не вернулся, и мама тоже!»

...Ты знаешь, Иштван, я только от других слышала, как все это было. Но, оказавшись в той стальной мышеловке, я натерпелась такого страха — не могу тебе даже передать. Люди рыдали, всхлипывали, причитали на разных языках, они звали на помощь близких, друзей, даже давно умерших. Уже полчаса мы торчали в лифте, воздух стал тяжелым, люди, казалось, теряли рассудок. Какая-то женщина, голландка, причитала:

«Это здесь, здесь меня разлучили с младшим братом! Ему одиннадцать лет только было. Теперь я знаю, они повезли его в душегубку. Поймите, ему же было всего только одиннадцать! Мальчик, белокурый красивый мальчик! А как он рисовал! Я столько лет мечтала, что найду его, и всегда ношу с собой кусочек хлеба, чтобы его накормить...»

...Он умер в одиннадцать лет! — думает Иштван. Когда мне исполнилось одиннадцать, мне на день рождения подарили футбольный мяч и торт с одиннадцатью свечами...

— Мы стояли в лифте нескончаемо долго, многие плакали. Кто-то говорил, что лифт удастся открыть только с помощью взрыва, а свет не смогут включить еще несколько часов, а может быть, и дней, что о том, в каком ужасном мы положении, никто и не знает. И вдруг белобрысый мужчина, до того разговаривавший со своей женой по-португальски, закричал по-немецки:

«Это саботаж! Таких работников сажать надо! Да что там сажать, стрелять их надо, как бешеных собак! Я должен есть каждый час, у меня диабет! Сейчас половина второго, и если мне станет плохо, вы все за это ответите! Сопливый мальчишка, ты нарочно не сигналишь диспетчеру? Почему не стучишь, не кричишь?» — И он замахнулся на лифтера, словно хотел ударить. Жена стала успокаивать его, и он тоже перешел на португальский: «Это все ты виновата! Я говорил, надо было ехать отдыхать на Бермуды или в Африку. А этого щенка я сейчас своими руками придушу!»

Женщина забеспокоилась, решила извиниться перед остальными пассажирами:

«Вы не сердитесь на него, он хороший человек. Это у него от сахарной болезни, когда гипогликемия начинается... Прошу вас, сударыня, если у вас действительно есть кусочек хлеба, очень прошу вас, дайте ему. Мой муж всем всегда помогает. Мы бедные беженцы из

Европы. А сейчас у нас в Бразилии пятьсот рабочих на плантации, и если кто-то заболит, он сам лечит их, дает лекарство. И роженицам помогает, и больной зуб без щипцов, пальцами может удалить...»

Кислород в лифте уже был на исходе. Дети кричали, плакали, кто-то молился богу. И вдруг одна женщина как закричит, словно сумасшедшая. Выхватила из рук лифтера фонарик, схватила этого белобрысого бразильца за руку и повернула ее так, что на локте можно было увидеть большую родинку.

«Смотрите все! — закричала она. — Я узнала его! Я сразу поняла, как только эту родинку увидела. Это он, он в концлагере вырывал у нас золотые зубы. Убийца!»

«Неправда, мой муж родился в Бразилии. Он никогда не служил в концлагере. Он никогда не был в Европе!»

«Был, был! Я его узнала! Это он!»

Что тут началось! Белобрысый бразилец орал, чтобы ему немедленно дали еды, его жена клялась, что он никогда не бывал в Европе, и умоляла голландку отдать свой кусочек хлеба, иначе он умрет. Бывшая узница концлагеря кричала, что он был надсмотрщиком, это он сломал челюсть ее отцу.

Голландка раскрыла сумочку и достала кусок хлеба, аккуратно завернутый в бумажную салфетку.

«Как вам не стыдно давать хлеб убийце!»

«Вернется мой брат, его привезут из лагеря, а он голодный!» — как безумная закричала голландка и протянула хлеб белобрысому.

Свет вспыхнул внезапно. На шестом этаже, где был ресторан, дверь открылась. Бразилец швырнул хлеб в угол, грубо оттолкнул жену и выскочил из лифта...

Никогда больше не буду сопровождать туристов. Хватит с меня пенсии... Прошу вас, Иштван, скажите вашей матушке, что я целую ее и приветствую. Я еще раз обязательно навещу вас.

— Наконец-то, — облегченно восклицает Эдина, когда дверь за Гизелой Керн закрывается. — Сколько всего она тут наговорила! Пойдем, зайчик мой, погрызем чего-нибудь!

Эдина угощает Иштвана бутербродами, затем принимается гладить его по голове, ласково дергает за ухо, за нос.

Что общего у меня с этой шальной девицей?! — думает Иштван.

| ВСТРЕЧА

— Ну, если на то пошло, в тюрьме не так уж и плохо. Офицер-воспитатель, беседы, дискуссии, кино. Раз в неделю книга из библиотеки. У меня было даже время «Войну и мир» прочи-

тать. И основательно проштудировать учебник греческой мифологии. Четыре года пролетели, как одно мгновение. И теперь я работаю по специальности. Конечно, ты-то нищий, у тебя нет никакой профессии. Уж не собираешься ли ты преподавать японский язык? А, Эмилио, ты вообще-то знаешь хоть немножко японский?

— Ради бога, потише, еще кто-нибудь услышит!

— Да не ной ты, будто застрявший в дереве червь! Будь мужчиной. Эти, если и услышат что-нибудь, ничего не поймут, они пьяные в стельку, как сапожники. Ну, давай твой стакан, чего это у тебя руки дрожат? Сделать такой трюк, как ты! Снимаю шляпу! Как обрадуется твой отец, когда увидит тебя живым и невредимым! А ты знаешь, он все время тебя вспоминает. И Лица! Конечно, она не такая красотка, как раньше, немножко располнела, но еще сойдет. Я срочно их извещу.

— Ты с ума сошел? Как это ты известишь их?

— Не хочешь — не буду!.. Да ладно, я пошутил, я твоего старика двадцать лет не видел, — захохотал Эден Жилле.

По шее Паланкаи заструились ручейки холодного пота. Жилле все еще ржал, и рука его дрожала от смеха, и он лил коньяк мимо стакана.

— Я, как тебя увидел, едва на ногах устоял. «Антал Кашш-Сухай, товарищ доктор. Это наш кадр! Руководитель новой административной группы. А coming man¹. Выдвиженец. Он сменит Матёфи, тот уходит на пенсию»... Председатель исполкома — ну, тот, у которого морда, как лиловая луковица, маленький такой, толстенький, того и гляди удар хватит,— уже две недели только и думает, что за человека нам прислала область, да с такой анкетой, да с такой характеристикой! Эмилио, а ты что, в самом деле умешь петь?

— Нет, я только организовал хоровой кружок «Пава» и руковожу им идейно. А сам не пою,— скромно сказал Паланкай.

— Потрясающе! Наш любимый председатель сельсовета, Петнехази, сегодня чуть свет раз пятнадцать позвонил жене председателя кооператива. Обсуждал с ней, сколько маковых пирогов испечь и как зажарить поросенка. Ведь к нам едет товарищ Кашш из области, награжденный «Орденом труда» бронзовой степени и почетным знаком «За социалистическую культуру», окончивший с красным дипломом множество всяких академий. Словом, едет чудо-кадр наводить порядок, человек с чистыми руками и холодным сердцем, несравненный, сверхумный, такой, каких свет не видывал, уж

¹ Человек, подающий надежды (англ.).

он-то разберется, кто тут тайно варит самогон и незаконно экспроприирует чужую собственность... Итак, к нам едет ревизор. Как у Гоголя. И этим ревизором оказывается — кто бы вы думали? — Эмилио Паланкаи! Он же доктор Кашии! Эмилио, ради бога, открой мне тайну: как это тебе удалось?

— Не ори! — буркнул Паланкаи. — Кто же мог знать, что ты здесь участковым врачом. Почему не умотал на Запад? Там врачи хорошо живут.

— Так, как здесь, не живут, — осклабился Жилле. — А вот ты почему не убрался ко всем чертям? Куда-нибудь во Вьетнам или в Иностранный легион?

Паланкаи задумался. Проще всего было в Комло. Сошел с поезда с чемоданчиком в руке, а в нем — две пары белья, зубная щетка, сберкнижка на предъявителя и учебник японского языка. На работу устроился запросто — по документам, купленным на базаре. Выдали спецовку, талоны в столовую и место в заводском общежитии. Старался держаться тихо, в драки не встречал. Планировал переждать год-другой, потом поехать в Будапешт, найти старые документы, разузнать, чем кончилось уголовное дело с каменным карьером, кому по сколько лет дали, и прикинуть, можно ли выкапывать спрятанные денежки. А пока работал на стройке: мешал раствор, подавал кирпичи.

К новому имени — Антал — привык, но все же старался пить поменьше — не дай бог проболтаешься. С девками тоже был осторожен. По воскресеньям, когда все уходило на танцы или в кино или ехали домой, к семьям, он лежал на койке, листал учебник японского.

Иногда видел сны: о том, что немцы выиграли войну, а нилашисты снова захватили власть в Венгрии. И он, верный сын нации, становится государственным секретарем или послом в Токио. И пишет большую монографию о фашизме, о чистоте расы.

Иногда он мечтал и наяву. Подождет еще месяц-другой и подскочит на денек в столицу, узнает, как там дела, что с жирным Эденом, с отцом. Кто уже вышел, кто еще сидит. Были у него и проблемы: забывался и откликался, когда кто-то звал Эмиля, и молчал, когда кричали: Антал!

Были проблемы и из-за возраста Антала Кашша, который, подлец, оказался на шесть лет моложе Паланкай. Еще, чего доброго, призовут на военную переподготовку!

А на второй год работы на стройке произошла в его жизни перемена, превзошедшая все мечты.

Сначала его вызвали в отдел кадров. Эмилио заволновался: что случилось?

Он уже давно продумал на всякий случай — если кто спросит — биографию Кашша.

Родился в деревне Опёсмета, рано осиротел. Пас деревенское стадо свиней, образования никакого, с трудом осилил два класса начальной школы. К концу войны ему было тринадцать. Долговязый тощий пацан. Хотели с допризывниками увезти на Запад, но он спрятался в стogu, отсиделся. Чего ему было ехать на Запад, раз туда война ушла? Какое-то время батрачил у кулаков, а когда в стране начались великие стройки, он тоже пошел в каменщики. Работал на строительстве Сталинвароша, оттуда попал в Казинцбарцику, даже женился там, вот — жена записана в паспорте: Эржебет Пятнашка. Странная фамилия? Цыганка была, привязалась к нему сама, на стройке. Девчонка тоже была сиротой, обвенчались, а через два месяца ушла. Ничего не сказав...

— Можете все это написать? — поинтересовалась заведующая отделом кадров, но Паланкай-Кашш с грустным видом воздел к небу очи. Как же он напишет? С его-то двумя классами начальной школы?

— Да, конечно! — участливо закивала заведующая. — Только вы так хорошо рассказываете...

Паланкай даже икнул со страху.

— Видите ли, я уж столько раз перебирал все это в уме, лежа ночью в общежитии на своей железной койке. Только и думал, какая несчастливая у меня судьба...

— Но ничего, демократия поможет вам, товарищ, — пообещала кадровичка. Выражение ее лица становилось все более приветливым — она выудила из морских глубин такую золотую рыбку, какая редко попадает в сети кадровиков: парень из рабочих, круглый сирота, свинопас, два класса начальной школы. Ни родственников, ни опекунов, ни покровителей. Бедняжка, столько его били-колотили! И мозги то у него еще как земля целинная — все схватит на лету, любую науку!

— Сколько вам лет сейчас, товарищ Кашш?

— Тридцать три.

— Самый лучший возраст для роста. Наш кадр. И что же, так никто вас и не посылал учиться дальше? Ни в Сталинвароше, ни в Казинцбарцике?

— Висело у нас там в общаге объявление, мол, кто если хочет, может написать заявление. Но я не писал. Я и не думал об этом...

— Ну конечно! — закивала кадровичка и иронически скривилась. Есть такие кадровики: повесил объявление, и дело с концом. А кто не отреагировал — пусть пеняет на себя. Как же он мог отреагировать, имея два класса начальной школы, полуграмотный? Но есть кадровики и такие, как я. Все изучат, во всем разберутся. Я выискиваю настоящих трудящихся. Поговорю, приободрю... как старо выглядит этот бедняга для своих лет! Ну, ничего не поде-

дальше, много страдал в детстве. Били, питался плохо...

Надо рвать когти! — думал Паланкаи, получая в вечерней школе пятерки за контрольные по арифметике, похвальные грамоты и путевки в дом отдыха. А потом и стипендию, и деньги на покупку учебников и тетрадей. От бригады его выдвинули в члены завкома, сделали учетчиком. Вместо шести утра на работу теперь можно было приходиться к семи. А захотел бы — мог хоть целый день готовить уроки, так мало у него было дел. Да только не учил он ничего, не было в этом необходимости. Он и без того был отличником, украшением класса. На его примере можно было демонстрировать ум выходца из народа, работника физического труда. За полгода он окончил первый класс. А кадровичка имела на него большие виды: на этот раз она непременно докажет, что и в вечерней школе можно добиться больших успехов.

Нет, хватит! — решал Паланкаи к концу каждого учебного года. Как бы из этого не вышел гранд-скандал! Но всякий раз, когда он пытался забрать трудовую книжку, его тотчас же вызывали в отдел кадров, повышали зарплату и в конце концов убеждали, что ему прямой смысл учиться дальше.

У Эмиля Паланкаи не было прописки в Будапеште, и вообще у него уже никого не было

в Будапеште. А если и был кто, то лучше с ним не встречаться. Зато у Антала Кашша было все: работа, комната в коммунальной квартире, учеба в Высшей школе управления хозяйством...

— Ну еще стаканчик! — сказал доктор Эден Жилле. — А скажи-ка мне, друг Эмилио, неужели тебе пришлось пройти с начала до конца все двенадцать классов?

— Пришлось, — ответил Паланкай-Кашш, с трудом ворочая языком. — Как есть все пришлось заново изучать.

— Какой ужас! — всплеснул руками доктор. — И таблицу умножения? И уравнения? И как получить серную кислоту — по химии? И походы короля Матяша — по истории?

— Я же говорю: все! И даже жвачных животных — парнокопытных и непарнокопытных.

— Жуть! А потом сдавал экзамены на аттестат зрелости? И устные, и письменные?

— Сдавал. И ходил на лекции, на семинары и защищал диплом! Тридцать письменных экзаменов! — воскликнул Эмилио и заплакал. — И ведь ни одного класса не дали пропустить.

— Сколько же лет ты учился в средней школе?

— Четыре... пять. Не помню. Дай мне лучше еще выпить.

— Нет, Антал, теперь с тебя хватит.

— Кто это — Антал? — забормотал Паланкай и уснул.

Я ТАК РЕШИЛ

Где я? Как я сюда попал? Как меня зовут? Не знаю. Не понимаю. Надо бы умыться.

Паланкаи, он же Антал Кашш, сел на кушетке и огляделся: чужая комната — просторная, хорошо обставленная. Жалюзи не спущены, сквозь легкую занавеску пробиваются яркие лучи солнца. За окном то ли сад, то ли широкая, обрамленная деревьями улица. В комнате современная «стенка», полка с книгами, журнальный столик, кресла. В вазе цветы. В углу два больших пузатых чемодана. Скорее всего, его собственные.

Кажется, вчера вечером он встретился с Эденом Жилле. Но как они могли встретиться? Эдена наверняка уже давно нет в живых. Когда же они виделись в последний раз? Десять? Пятнадцать лет назад? Тогда Эдена посадили. Так что если он и вышел на волю, то наверняка сбежал на Запад, либо выпал, пьяный, из поезда, либо умер от ожирения. Да и что Эден мог делать в этом, как его, Харш... Харшаше? И что забыл здесь я? — Он попытался снова собраться с мыслями. — Ах да, меня же сюда назначили. Теперь я здесь начальник. А этот Эден мне просто приснился. Наверное, я вчера очень устал. Помню, кто-то пил за мое здоровье. А вот когда я лег спать? Не помню.

Пижама точно моя. И живот болит у меня. Жаль, что нет Эдена. Прописал бы мне что-нибудь от живота. А вообще, чем плохо, если Эден действительно живет в этой деревне?! Эден не выдаст. Да если и проговорится — кто ему поверит? Кто вообще станет его слушать? У Эдена, если посчитать, не меньше сотни различных темных делишек. Тут тебе и подделка водительских прав, и фиктивные больничные листы, и частная практика без патента. Если уж я добрался до сих вершин, так кого мне бояться?!

Он сделал на своей походной спиртовке порцию кофе и уже собирался выпить его, как в дверь постучали. В дверях стояла молодая женщина с подносом, на котором была чашка молока и несколько ломтиков белого хлеба.

— С добрым утром, товарищ Кашш. Я Миклошне Фаддяш, работаю здесь экономкой, а муж — управдомом. Мы же будем готовить товарищу Кашшу завтрак и обед, если позволите. Какие еще будут пожелания? Мы к вашим услугам.

Не дожидаясь ответа, женщина поставила поднос на стол и подошла к окну, отодвинула занавеску и, показывая за окно, пояснила:

— Вы вечером поздно приехали, еще, наверное, не осмотрелись. Вон там, напротив, парк, в нем памятник героям, кирпичное здание — это наш сельсовет. Между церковью —

видите? — и сельсоветом — амбулатория, справа — школа и старый Дом культуры.

А как зовут участкового врача? — хотел бы-ло спросить Паланкай, но вместо этого сказал:

— У меня часы остановились. Сколько сейчас времени?

— Полдевятого, — ответила Фаддяшне.

— Полдевятого?! Так мне уже давно пора быть на работе!

— Но сегодня же воскресенье, товарищ Кашш! — улыбнулась женщина и вышла. В дверях она обернулась и добавила: — А наш дом в глубине сада. Но есть звонок. Если пожелаете чего-нибудь, два раза нажмите вот эту кнопочку.

Неужели сегодня воскресенье? А он прискал сюда в пятницу. Значит, проспал целые сутки!

Антал Кашш выпил остывший кофе, пожевал белого хлеба. Вторая порция кофе, пожалуй, была лишней — началось сердцебиение. Зато лучше заработала голова. Теперь все ясно. Он достиг вершины! Теперь у него власть. А тем более если и Жилле здесь... Значит, и над ним он тоже имеет власть. Из-за этого гада он не успел выбраться из Будапешта до прихода русских. Жилле упустил тогда время, что-то темнил, юлил... Ну да теперь он за все ответит, заплатит за все!

Паланкай-Кашш взял пустую чашку и

представил себе Жилле, как тот стоит перед ним, умоляет и по бледным щекам текут слезы. Руки его сжались в кулаки, а на лице даже проступили капельки пота. Он вошел в ванную и посмотрелся в зеркало.

Паланкаи еще в тринадцать лет, катаясь на лыжах в Альпах, в Земмеринге, сломал себе нос. После этого у него и появилась горбинка, большая, некрасивая. Трижды он доходил до дверей хирурга, делавшего пластические операции на лице, и трижды ему становилось дурно. От страха, от запаха лекарств. Он очень хотел сделать эту операцию, да не хватало смелости. Но однажды решился. Выпив пол-литра водки, отправился в поликлинику за направлением. Перед самой операцией ему уже не надо было пить водку: от одного страха он был почти без чувств. И начал плакать, стонать, прежде чем до него успели дотронуться. Но прооперировали, выправили носовую перегородку. Несколько недель Паланкаи-Кашш любовался своим носом величиной с большое яблоко. Во время одной из перевязок молодой врач, взяв историю болезни, спросил:

— Антал Кашш? Из рода Сухай-Кашшей?

— Да, — вдруг отважившись, ляпнул Эмилио.

— Тогда сервус! Будем на «ты», по родственному, — сказал доктор. — Я ведь тоже Сухай-Кашш. Но из нашей фамилии мало кто

уцелел. А кто уцелел, тех разбросало по миру.

Сухай-Кашш рассказал ему кое-что о клане Кашшей — что тетя Ирен умерла, а в недавнем прошлом у священника какой-то небольшой деревушки в области Веспрем нашлась родословная Кашшей, в ней записано много Анталов. А в архиве отыскался даже их родовой герб. Так что после предъявления соответствующих документов он тоже имеет право заказать копию этого герба. Душу Эмилио вдруг согрела радость. Столько лет он носил фамилию Паланкай, с «игреком» на конце, как потомственный дворянин, и ему тяжело было притворяться люмпен-пролетарием Кашшем с двумя классами начальной школы. Но дворянская фамилия Сухай-Кашш — другое дело. Это и звучит совсем по-другому. Теперь быть дворянином не считается позором, все усердно разыскивают своих титулованных предков, заказывают гербы, копии дворянских дипломов, словно мы вернулись в начало восемнадцатого века...

Выписавшись домой, Паланкай-Кашш тотчас же начал вносить исправления в свои документы. В некоторые удалось вписать первую часть фамилии — «Сухай», в другие — только букву «С». С новым носом и новой родословной он почувствовал, что теперь уже на долгое-долгое время, может быть навсегда, расстался со шкурой Паланкай.

Он уже был студентом последнего курса

Академии, когда его направили на практику в уездный совет. Референт административного отдела Телекеш, который по субботам разбирает жалобы населения, как-то взял с собою на прием Эмилио — пусть учится. Дела были пустяковые: кто-то вытряс коврик с балкона, выгулял собаку без поводка, затоптал газон, намусорил на улице, громко включил радио.

— Ну, на сколько ее оштрафовать? — приглушив голос, спрашивал Телекеш у Кашша. — На пятьсот? Хорошо, пусть будет шесть сотен.

Эмилио смотрел на бедную старушку, вызванную административной комиссией. Смотрел на расширенные от страха глаза, на струящийся по лицу пот, слышал, как бедняжка тяжело дышит... После восьмого или десятого дела — старичок украл в магазине «Сам бери» кусок мыла — Телекеш сказал Паланкаи:

— У меня сегодня гости, доведи сам четыре дела. Ты уже освоился. Только смотри, чтобы комар носа не подточил! И не бойся: всегда найдется параграф закона, который опровергает другой параграф.

— Мартонне Киш по вечерам регулярно вытрясает со своего балкона коврики. Вы Мартонне Киш?

— Да.

Молодая женщина, на лице страх. Жалобу на нее написал домовый комитет.

— Я после работы иду в садик. Пока приведу ребенка домой, еще дверь открыть не успею, не то что коврик вытрясти, а Шимекне уже подглядывает...

Паланкаи вдруг снова ощутил в груди, казалось, давно забытое чувство, сначала он даже не понял, что это такое. Во рту у него вдруг собралась слюна, какая-то мышца под языком напряглась, кожа на лице стала краснеть, щеки надуваться, он часто-часто задышал, в висках застучало. Ну да, теперь вспомнил: точно такое же чувство овладевало им, когда он еще подростком разглядывал фотографии обнаженных женщин или когда по ночам ему снились волнующие сны. Он прижал ладони к столу, чтобы Кишне не заметила, как он дрожит. С таким же наслаждением во время войны он лупил по щекам и по головам допризывников в Эржебете. Он бил их, а глаза мальчишек, стоявших перед ним, были вот так же расширены от страха, и кожа на их лице была мокрой от пота. И он с вождением вдыхал запах потных тел, и бил, и любовался, как под ударами на лице у них лопается кожа, а кровь брызжет из окровавленных ушей и носов. Кровь, у которой такой приятный сладковатый запах!

Несчастную Кишне он оштрафовал на четыреста форинтов за то, что она вытрясала коврик со своего балкона. Следующий!..

— Я закатала детскую коляску на газон,

потому что боялась, что ребяташки на игровой площадке попадут мячом в ребенка. А на газоне и тень была. Не сердитесь на меня!

— Я не сержусь, но что же это будет, если все начнут закатывать детские коляски на нежную травку газона? Трава выделяет кислород, — строго отчитывал Паланкаи молодую мать, он и сейчас ощущал наслаждение в дрожащих голосовых связках, и продолжал пытку: — Кислород — это жизнь! Другим гражданам нашей страны он тоже нужен. Мы защищаем интересы всего общества в целом. Так и запишем в протокол: *«В интересах защиты общества штраф шестьсот фунтов. Решение обжалованию не подлежит»*.

Молодая мама расплакалась. Паланкаи вдруг всей кожей почувствовал, что женщина сейчас бросится перед ним на колени и он накинется на нее и будет кулаком бить ее по лицу, сорвет с нее платье. Паланкаи сглотнул слюну и, чувствуя, что вот-вот потеряет сознание от наслаждения властью, взял в руки следующую папку.

Режё Шипош, шестидесяти лет, пенсионер, проживающий на Нижней Луговой улице, недобросовестно обработал ядохимикатами деревья на своем садовом участке, отчего на его яблонях завелся американский шелкопряд, который затем перебрался в сад гражданина Берталана Мехеша, его соседа, который и подал

жалобу в административную инспекцию. Плодоносящие фруктовые деревья принадлежат всему обществу, и общество не может терпеть, чтобы в результате небрежности одного человека...

— Извините, но у меня суставный ревматизм, и я не садовод по профессии, а бухгалтер. То есть был бухгалтером, — лепетал пенсионер Режё Шипош. А референт административной комиссии Кашш с наслаждением взирал, как съезживается, как становится ничтожным этот человек. Оштрафовав его на восемьсот форинтов, Кашш объявил, что решение окончательное и обжалованию не подлежит.

Позднее сатанинская радость охватывала его даже тогда, когда он не видел провинившихся и разбирал дела в их отсутствие. В такие моменты все воспламеняло его воображение: дрожащими пальцами они распечатывают конверт и читают решение, под которым красуется подпись: *д-р Сухай-Кашш* и приписка: *«Решение обжалованию не подлежит»*.

Он сидел допоздна в душевой дымной комнате, не считаясь с тем, что давно кончился рабочий день. Иногда даже сам печатал решения. Не нравится — обращайтесь в суд. Или в вышестоящую инстанцию. Только заявление нужно подавать через того же доктора Сухай-Кашша. Можешь ждать, голубчик, пока разберут твое заявление, до Судного дня!

А доктора Антала Кашша хвалят на всех совещаниях.

Антал Кашш каждый квартал получает премии.

Антал Кашш все исполняет в срок.

Антал Кашш — образцовый работник.

Село Харшаштаня решили объединить с двумя соседними. Задачи исполкома возрастают. Кого поставить во главе административной группы? Доктора Антала Сухай-Кашша. Сколько сел в Венгрии? То ли три, то ли четыре тысячи. Но почему именно в Харшаштане работает участковым врачом Эден Жилле?

ГОСТЬ ИЗ ПАРИЖА

В первый раз Фери Чаплар привез свою семью в родные места. Иветта героически сносила все: и то, что в гостинице каждые полчаса ломался лифт, и то, что в ресторане нельзя было получить теплого молока для девочек, и что варварская мужнина родня насмерть их зацеловала, что никто здесь не знает французского, а когда Сусу потеряла пуговичку от пальто и они зашли в магазин купить другую, продавец испугался первого же вопроса Иветты, замотал головой и куда-то спрятался... Иветта была олицетворением нежности и возмущения

одновременно. Она говорила, что француз никогда не должен покидать Францию, все, кто хочет увидеть французов, пусть приезжают к ним. Будапешт красив, но достаточно посмотреть и хороший фотоальбом. И вообще уже четыре дня идет дождь... На пятый день Фери усадил семейство в самолет до Парижа, а сам остался еще на недельку в Будапеште.

Взяв напрокат автомашину, Фери съездил и в Шомошбаню. Стояло лето, так что мама тоже была там. А Яни Хомок на эти дни уехал в Озд. Может быть, Венгерская Народная Республика и простила тех, кто в пятьдесят шестом году покинул страну, но Яни был непреклонен: это не интересуется этот разжиревший буржуй. Не станет он, Яни Хомок, ползать на пузе перед его долларами и франками, не будет брать под козырек перед «высоким гостем». Плевать он хотел на Елисейские поля, и не нужен ему подарок — шелковый галстук из магазина «Лафайет». Зря теща пригласила Фери, но в эти дела он уже не может вмешиваться. И тетя Илона зря пляшет перед ним — жарит, парит. Зачем лезть из кожи и драить полы в горнице, заново перестирывать все чистое белье? Пусть не очень-то задирает нос этот избалованный буржуйчик, поменявший венгерское имя Ференц на Франсуа! Поэтому Яни-младший пусть лучше едет на свою летнюю практику. Ни к чему эти встречи с парижским дядей...

— А вот к чему, — упрямо возразил Яни-младший. — Это же мой единственный дядя!

За три дня Ферко покори́л всех. Спал он, естественно, в комнате тети Илоны. И был в восторге от чистоты и уюта в ее горнице, от нежного запаха айвы, пропитавшего постельное белье, и от того, что на подоконнике алеет герань, и от того, как великолепно стряпает тетя Илона. Теперь это был настоящий Ферко, а не тот, в Париже, что в семь часов запрыгивал в свой автомобиль и мчался на работу, а вечером приветствовал мать усталой, рассеянной улыбкой. Теперь это был прежний Ферко, он рассказывал веселые истории о великольном Париже и терпеливо выслушивал, как мама и тетя Илона ладят с соседками, как в прошлом году шелкопряд объел все яблони, восторгался, что у них в сельской хате электрическое отопление, хвалил маковый рулет и тушеный картофель с красным перцем, а главное — говорил и никак не мог наговориться с Яни-младшим. Яни был мальчик-с-пальчик, когда Ферко покинул Венгрию, а теперь уже студент, всего на несколько лет моложе того Ферко, что когда-то до хрипоты спорил в приемной комиссии университета. «Вы сын рабочего, значит, ваше место на инженерном факультете», — внушали ему. «Я сам знаю, где мое место! — не отступал Ферри. — У меня четвертый разряд по медицинскому инструментарию, и я хочу знать, как нужно

пользоваться инструментами, которые я делал». Яни Хомок возмутился: «Вишь ты, умник выискался! Ему власть рабочих не нравится. Потому что его, сына слесаря, хотят насильно выучить на архитектора!» Мать плакала и причитала, сестра молчала, отчаявшись переубедить его, а он кричал сквозь слезы: «Я уеду!» Лучше буду скитаться по белу свету, но здесь не останусь! Я докажу им!»...

Яни-младший попросил у соседа велосипед, и они с Ферко отправились на реку. Им было о чем поговорить. Яни-младший не знал в подробностях, как фашисты в пятьдесят шестом убили его дедушку и дядю Кароя, не знал о причине эмиграции Ферко и о том, что Агнеш несколько лет одна содержала всю семью. Он только понаслышке знал о жизни дяди Ферко в Париже, что тот учился в университете, а по ночам разгружал мясные туши. Теперь «Чрева Парижа» больше не существует, снесли его, а на этом месте построили знаменитый Центр Помпиду...

Ферко собирался пробыть в Шомошбане два дня, но остался и на третий. Яни Хомок, вернувшись из Озда точно в срок, уже хотел было поставить свою «шкоду» в саду и вдруг увидел стоящую перед домом машину с будапештским номером.

— Черт побери! — буркнул он. — Сколько же свободного времени у этого буржуя! —

И повернул машину назад.

Ферко просмотрел учебники Яни-младшего, расспросил его об университете, о планах на будущее, рассказал, что у себя на предприятии они сконструировали больничные койки совершенно нового типа и современные операционные столы. Теперь больному прямо на койке можно сделать рентген, что особенно важно при переломах и внутренних кровотечениях. К этой койке можно присоединить все что угодно — не только аппарат искусственного дыхания, но и «искусственную почку», «искусственное сердце». Каждый конец этой койки можно привести в движение автономно — приподнять, опустить, сдвинуть в сторону. Ферко рисовал, подробно объяснял принципы инженерных решений: как вращаются отдельные части койки, как размещены подшипники...

— Это все твои изобретения? — спросил Яни-младший.

— Не только мои. Но и я в этом, конечно, участвовал. У меня великолепный коллектив — врачи, инженеры, слесари-инструментальщики, электронщики. Если хочешь, я пришлю тебе наши каталоги. — Вдруг он замолчал, посмотрел на Яни-младшего и воскликнул:

— Послушай, а ты когда кончаешь университет?

— Через два с половиной года.

— А французский знаешь?

— Нет. У меня русский и английский.

— А не хотел бы выучить еще и французский?

— Конечно, хотел бы.

— Вот что: получаешь диплом — и на год-другой ко мне, в Париж. Учиться!

— Если это будет зависеть от меня, я — охотно.

На четвертый день Ферко уже не мог остаться. В половине третьего утра тетя Илона поднялась печь пирог. Мама довязала шарфики и шапочки в подарок Бебе и Сусу. Набрала в саду прямо с дерева целую корзину черешни. Бедняжки никогда не ели такой, на ихнем парижском рынке намного хуже. В конце концов Яни-младший сел рядом с Ферко в удобный «мерседес», взятый напрокат в Будапеште, и проводил дядю до Хатвана. По дороге они остановились у ресторана, выпили по чашечке кофе. Ферко, взволнованный и растроганный, не мог оторвать глаз от племянника.

— Если бы ты знал, какой крохотный мальчик-с-пальчик ты был, когда я с тобой простился. И знал бы ты, как я тосковал все эти годы!

— Тосковал по Венгрии?

— Конечно. Я иногда и сейчас тоскую.

— А ты не думал вернуться?

— Нет, тогда пришлось бы тосковать Ивет-

те. И для детей Париж — их родина. Все это ужасно. Настоящее сумасшествие, что весь мир вот так разорван на куски. Мне, чтобы выучиться любимому делу, пришлось эмигрировать, и шлагбаум за мною закрылся на долгие годы. А когда снова открылся, поздно было... Что бы такое тебе подарить?

Яни-младший засмеялся:

— Ты и так задал меня.

— Нет, что-нибудь такое — очень личное, — сказал Фери. — О, погоди! Знаю! — Он снял с себя великолепную, легкую, как пух, куртку. Потом достал из сумки авторучку «монблан» и записную книжку. — Ну вот, теперь ты всегда будешь обо мне помнить. И знай: я жду тебя!

Когда Яни-младший вечерним автобусом вернулся домой, отец сказал ему с укоризной:

— По-моему, ты сегодня должен был уехать в Мишкольц, в университет. Или как? Помнится, ты говорил, что поедешь на практику с ребятами.

— Завтра поеду.

— Ну конечно. Высокий гость! Французский господинчик важнее товарищу Хомоку, чем исполнение своих обязанностей. Что это на тебе?

— Фери подарил.

— Широкая натура твой дядя. А чем еще он тебя ошастливил?

Яни-младший посмотрел на отца в упор.

— Много чем. Например, приглашением в Париж на два года.

— Не поедешь! Никуда не поедешь! А я-то, дурень, не догадался, он затем и приехал, чтобы тебя сманить! Но только ты — мой сын. Не для того я тебя растил! Ясно? — Он вскочил и, схватив сына за плечи, встряхнул его. Что я сделаю, опомнился он, Яни — взрослый человек, не станет спрашивать совета, уедет, если надумает, куда и когда пожелает. Яни-старший побледнел и вышел из комнаты.

Вернувшись в Будапешт, Фери прожил два дня у сестры. В последний вечер, прощаясь, вдруг сказал:

— Да, Геза, чуть не забыл: те пятьсот франков, о которых ты просил, я неделю назад перевел на твой инвалютный счет. Когда вы едете в Шотландию? Может, заскочите по дороге и к нам, в Париж?

— Еду только я. На конгресс, — поспешил пояснить Геза и густо покраснел.

А когда дверь за Фери закрылась, он мучительно долго объяснял Агнеш:

— Эта затея с конгрессом может еще провалиться. Я и написал-то Фери так просто. Ведь ты в этой своей больнице постоянно занята...

— Конечно, — согласилась Агнеш без всякой обиды.

— Зря мы отняли у людей веру в загробный мир. Какой дивный приют упокоения! В шестьдесят или в семьдесят лет они произносили умиротворенно: прошло наше времечко, бог дал — бог взял, вышли из праха и в прах вернемся, а на том свете нас ждет и рай, и вечная благодать, и воскрешение из мертвых, и все такое. А теперь никто не хочет утихомириться. Даже инвалиды, не способные ходить, и старые ведьмы, которых в пекле заждались, заполняют поликлиники, требуют направить их в санаторий, на операцию, на уколы, на целебные ванны и облучение лазером. Ах, как прав был император Фридрих Великий, который орал своим солдатам, боявшимся идти на штурм: «Вы что, трусливые псы, вечно жить хотите?»

Все хохочут. После этого никто больше не говорит о болезнях, только об автомобилях: какова новая «лада», насколько модернизированы «жигули», где купить «шевроле» или «мерседес» с дизель-мотором — жаль только, запчастей к нему на найдешь...

Сегодня в гостях у Гезы коллеги: две супружеские пары и холостяк Габор Кишш. Он тут самый нахальный, самый горластый.

Накануне Агнеш спросила мужа, откуда взялся этот Габор Кишш. У нее проходил когда-то практику врач с таким именем — необ-

разованный, бессовестный, отвратительный тип.

— И он сказал, что хорошо тебя знает, — подтвердил Геза. — Но нельзя же отменить приглашение...

Несколько дней назад Геза вернулся домой из Сицилии, где пробыл целый месяц в служебной командировке. В Таормине.

Еве он привез сумку, полную подарков: сувенирную модель сицилийской крестьянской повозки, огромную коробку марципанов, засахаренных цветочных лепестков, две кассеты с сицилийскими песнями, фруктовый напиток «нектарин» и апельсины. Для Агнеш он привез художественный альбом. Кроме того, большую бутылку итальянского «кьянти» и заботливо завернутые в пуловер две бутылочки сицилийского миндального вина и две маленькие баночки маслин. Миндальное вино — редкость, такого нигде больше не купишь, только в Сицилии, оно крепкое, горьковатое, в нем есть и аромат свежего миндаля, и терпкость. Он вез это вино специально для коллег.

Габор Кишш заявился с огромным букетом цветов, во весь рот улыбаясь хозяйке дома.

— Вы все еще сердитесь на меня? Не бойтесь, я никого не погубил. До больных и не до трагиваюсь. Я только организатор здравоохранения и ваш хороший друг. Правда, дядюшка Геза?

По просьбе Гезы Агнеш купила несколько сортов замороженной пиццы — с колбасой, с зеленым перцем, помидорами, разнообразными приправами, маслинами, сардинами, сыром — и испекла ее. Теперь все в восторге.

Запивают вином «кьянти». Габор Кишш много ест и еще больше пьет. Он поставил рядом с собой бутылку с вином и сам разливает его.

После пиццы Агнеш подала сыр разных сортов, фрукты и марципаны из Сицилии. Магнитофон запел сицилийские песни, записанные на кассету, три бархатных баритона загоревались о Сицилии: плачь, Сицилия, потому что пираты высадились в гавани Палермо. Геза распечатал миндальное вино.

— Напьемся, но не беда, — говорит Габор Кишш и в один прием осушает целый бокал драгоценного вина. — Божественный напиток! Если кого и есть смысл посылать за границу, так это тебя, дядюшка Геза! Ничего подобного мне никогда не доводилось пить. Куда хочешь поехать в ближайшее время?

Геза смущенно улыбается, подмигивает Габору Кишшу — мол, оставим эту тему. Но тот уже пьян вдребезину.

— А хочешь знать, откуда взялась твоя командировка в Таормину! Ха-ха-ха! Четыре месяца назад заявляется ко мне в министерство один типчик из Кечкемета. Тоже доктор. Рас-

сказывает, что занимается исследованиями низимов, что у его шурина научно-исследовательский институт в Таормине и он охотно принял бы его у себя, обеспечил бы ему питание, жилье и другие расходы. Так что разрешите, мол, мне поездку, я поучусь там и тем самым обогащу всю венгерскую науку. Ладно, говорю я ему, дайте мой адрес своему шурину, и пусть он направит нам официальное письмо такого содержания: у нас в институте есть одно место для венгерского ученого на таких-то и таких-то условиях. Письмо вскоре приходит. Сначала я хотел сам поехать. С детства мечтал посмотреть на итальянскую мафию. Но в это время подвернулась американская поездочка, и я решил отложить Таормину в долгий ящик — пусть полежит. А потом вспомнил: вот же Геза, хороший врач и хороший мой приятель. Почему бы ему не удружить?

Агнеш побледнела. Геза состроил гримасу: ну, ты и плут, дружок! Профессор Рекаи, известный гастроэнтеролог, в упор смотрит на Кишша.

— Ну, а если этот парень из Кечкемета снова объявится? — любопытствует профессор Моор, известный хирург.

— Он и объявился. А я ему: товарищ, вы что, думаете, раз у нас маленькая страна, то сплошное кумовство? Запомните: если в Венгерскую Народную Республику приходят из-за

границы почетные приглашения, мы посылаем человека, научные труды которого способствуют наиболее эффективному излечению болезней трудового народа. Но если лично у вас есть какие-то замечания по этому вопросу или вы считаете, что ваши частные исследования в области энзимов более значительны, тогда напишите заявление. Нет-нет, я только поинтересовался, говорит этот типчик и, красный как рак, удаляется...

Тут профессор Рекаи переводит разговор на автомобили, а жены профессоров принимают хвалить пиццу. Агнеш от изумления не может вымолвить ни слова. Ее тошнит, гудит голова. Откуда-то, очень издалека, она слышит, что гости говорят о разных экзотических блюдах, о меч-рыбе, зажаренной в гриле, об индийском инжире, о сицилийских сладостях... Она выходит на кухню — приготовить кофе, но и сюда доносятся смех и возбужденный голос Гезы.

— Если вы хотите отдохнуть, не стоит ехать в Таормину. Конечно, это самое красивое место на Сицилии, но ведь там вулкан Этна. Летом он, как гигантская губка, буквально притягивает к себе тучи. Когда я приехал, первую неделю непрерывно лил дождь, будто кто-то из кувшина поливал, словом, тропический ливень. Древнегреческий театр находится в самом центре города. Идешь по Корсо Умберто, нале-

но маленькая площадь, а от нее ведет узенькая уллица, всего метров сто длиною. Шлепал я туда под проливным дождем, заплатил тысячу лир, вскарабкался вверх по ступеням и...

— И не увидел ничего! — подхватил один из профессоров.

— Правильно, не увидел ничего. В тумане, в испарениях из кратера скрылось все. Но это еще полбеды, самое поразительное, что меня облесили тучи крылатых муравьев величиной с большого шмеля. Они медленно, мягко садились мне на шею, на волосы, прилипали к рубашке. А когда дождь прекратился, исчезли и муравьи... Я же не успел тебе ничего рассказать о Сицилии, Агнеш. Посиди немножко с нами, — попросил Геза, когда она принесла кофе. — Этых сицилийцев — их никто не поймет до конца. А какие у них удивительные погребальные обычаи! Если умирает муж, жена девять лет носит по нему траур и не имеет права снова выйти замуж. А если умирает жена, то муж носит в течение года лишь одну черную пуговицу, пришитую на рукав.

— Ну, тогда выпьем за этот мудрый сицилийский обычай! Осталось у тебя еще миндальное вино? — спросил Кишш.

— Да-да, пожалуйста. В окрестностях Агридженто поминовение усопших длится три дня. Семьи в полном составе приходят на кладбище, там у них настоящие семейные некропо-

ли, не хуже наших вилл. Они выносят на свежий воздух стулья, стол, угощение и отдыхают среди мертвецов. А на другой день утром ребятишкам дарят игрушки и говорят: это вам прислали ваши умершие родственники — в благодарность за посещение.

— Фантастика! — говорит доктор Моор. — Ну а как мафия, ты сталкивался с нею?

— Нет, конечно. Рассказывали, что у одного туриста в гостинице пропал фотоаппарат. А гостиница принадлежит мафии. Мафия отдала распоряжение, и на четвертый день фотоаппарат нашелся.

— Выходит, мафия — добрый дядюшка?!

— Нет. Просто они очень дорожат своей честью. И сами определяют, что относится к вопросам чести. Они решают, что можно, что нельзя. А в другой гостинице надумали провести конгресс транснационального алюминисового треста. Мафия известила устроителей: не разрешаем! Но конгресс открыли. Тогда мафия объявила, что ограбит двух главных участников конгресса. Полиция перепугалась, миллионеров сопровождали даже на пляже. В конце концов гостям надосла эта нервотрепка, и они разъехались на четыре дня раньше. Но самое страшное рассказал нам экскурсовод в Катании. Там выстроен огромный завод по перегонке нефти, и его сточные воды отравляют море. Это сделало непригодными пляжи, гибнет ры-

ба. Профсоюзы требуют, чтобы завод установил очистные сооружения, а мафия не соглашается.

— Мафия не соглашается?

— Вот именно.

— Какой мрачный мир! — возмутился Габор Кишц, выливая в свой бокал остатки миндального вина.

| ТЕННИС

— Папа, ты играешь как бог!

— С такой партнершей не расслабишься. Давай заканчивать, а то опоздаешь в школу.

— Ну, пожалуйста, еще немножко! Только четверть восьмого!

— Хорошо, сударыня, один гейм.

Геза смотрит на дочь. Как она прелестна! Я достиг всего, чего только хотел в этой жизни, думает он.

Подает Ева. Мяч взвивается в воздух, перелетает через сетку и ударяется о землю. Геза хочет отбить его, но мяч превращается в черный шар с огненным ореолом и, разбрызгивая искры, пролетает мимо. Да нет, это не шар, это самолет, удивляется Геза. Правда, самолетом он должен лететь завтра. Куда? Куда-то далеко. Ему уже не догнать его, и вытянутая рука тщетно тянется вслед. И в этот миг самолет

взрывается, разлетается вдребезги, превращается в шипящую комету. Вот ее горячий хвост, полный мертвящих газов, надвигается на него. Гезе не хватает воздуха. Как жарко в этом зале! Сейчас он должен выйти к микрофону, текст научного сообщения у него в кармане. Но где карман? У теннисной рубашки нет кармана, а в кармане тренировочных брюк умещаются только ключи от машины. Почему он не купил себе большой красивый «форд»? «Форд» — удобная, комфортабельная машина. А в этой — видишь? — руль вдавливается в грудную клетку. Разве это ключ от машины, это ключ от подвала, пахнувшего крысами и кошками. Там молоденький студент медицинского факультета Геза Полтаваи проводит свои исследования. Ключ от длинного-длинного коридора, пропахшего лекарствами и подошными животными, коридора, по которому нужно сейчас пройти, чтобы всю ночь работать в лаборатории. Как делают знаменитые исследователи Бантинг и Бест. Как Флеминг. Нет, ему надо ехать в Африку, как Альберту Швейцеру. Габор Кишш позвонил из министерства, сказал, что срочно нужно сдать выездные документы, иначе он не успеет в командировку в Австралию. Зачем я поеду в Австралию? Кто я такой? Агент по продаже медикаментов? Или детского питания...

— Папа, что с тобой?

Раскаленная комета пронесится мимо, Геза задыхается от ее жара. Тенниска насквозь промокла от пота, ракетка упала на землю, он не видит ее — слишком много яркого, слепящего солнца. Оно и понятно, отчего так жарко, ведь на нем темно-синий костюм, а не коричневый пиджак, который он взял в займы на первый госэкзамен. Откуда взялся этот темно-синий костюм? Молодые врачи приносят клятву Гиппократу. Как можно приносить клятву на теннисном корте? Я, Геза Полтаваи, клянусь, что все свое умение... Но, извините, как много у меня этого умения?..

— Папа, что с тобой?

На одно мгновение он видит перед собой Еву, понимает, что сейчас его грудная клетка разорвется, а по руке до самых кончиков пальцев пробегает страшная, невыносимая боль.

— Быстрее позвони маме!

От волнения Ева никак не может набрать номер больницы. На параллельном телефоне в конторе спортивного комплекса кто-то тоже набирает. Она видит, как к отцу подошли двое, укладывают его на траву. Десять бесконечных минут, и машина «Скорой помощи» уже здесь. На Еву не обращают внимания, но и не прогоняют из машины.

— Папа, папа, папочка! — в отчаянии шепчет она и не смеет даже погладить его по бледному, как воск, покрытому потом лицу...

Мама тоже бледна. Даже не взглянув на Еву, словно не замечая ее, отдает распоряжения. Отца переносят в палату, дверь оставляют открытой. Иглы, пробирки, бутыли, средства истязания неизвестного предназначения. Это империя мамы.

Вот он, мир, куда она еще не проникала, мир, враждебный ей. «Мама, почему ты не слушаешь меня? Опять ты думаешь только о своих больных. Мама, мне срочно нужна красная кофточка. К воскресенью!..» — вспоминается ей.

Ева прислоняется к стене коридора, ногти впииваются в ладони. Она видит, как с отца стягивают рубаху, меряют давление, делают ЭКГ. Да, это как корабль в бурю, и мама — капитан на мостике. Одна ошибка, единственный промах — и корабль ко дну. Да что корабль — целый континент, весь мир!

Неподалеку стоит молодая женщина в джинсах, наверное, и она привезла сюда больного. Пусть они спасают моего папу, говорит про себя Ева. Пусть занимаются только им! А эта пусть уходит отсюда, чтобы никто не отвлекал маму. Папа, папочка, о господи!.. Ева стоит, не шевелясь, на кафельной плитке и думает: пока она так стоит, с ним ничего не случится, а она не будет даже дышать!

Молоденькая медсестра выходит из палаты, прикрывая за собой дверь. Приглушенным го-

лосом говорит что-то девице в джинсах, затем подходит к Еве.

Идемте!

Ева не смеет ни возразить, ни спросить, куда ее хотят отсюда увести. Она послушно идет за белым халатом, странно шаркая теннисными туфлями по кафелю. Медсестра приводит ее в большую столовую, ставит перед ней тарелку супа и тушеную тыкву. Суп холодный. Сколько сейчас времени? В тыквенном пюре — ломоть жареной свинины. Она без аппетита, словно кусок глины, мнет его зубами и думает о том, что это, наверное, мамин обед и теперь мама вообще останется голодная. Даже и сейчас мама думает о других, только не о себе.

Девушка в халате молча и терпеливо ждет, пока Ева зашьет обед и сдаст поднос с посудой в раздаточное окно. Потом берет Еву под руку и ведет назад. Девуцы в джинсах уже нет в коридоре. Почему ее услали? Почему? — стучит сердце Евы. Что с ее больным? И что с папой?

Медсестра ведет ее в какую-то комнату. На двери табличка: «Процедурная». Сестра, наверное, не старше Евы, но, в отличие от нее, знает какую-то тайну, и Ева снова не смеет ни о чем спросить. Молча надевает халат, марлевую маску, косынку, а на ноги — большие белые бахилы.

— Вымойте руки дезинфицирующим! Полотенце там есть.

Зачем? Куда? — снова хочет она спросить, и снова громко стучит ее сердце.

— Сумочка ваша и кофта будут лежать вот здесь, в шкафу.

В коридор они больше не выходят, из процедурной дверь ведет прямо в палату. Здесь стоят отгороженные ширмами койки, рядом приборы, похожие на станки, горят белые лампы, слышатся негромкие стоны.

Подходит кто-то в белом — Ева не сразу узнает маму, — берет за руку и подводит к высокой койке, где лежит отец и хватает ртом воздух. Он весь в поту. К руке привязана трубка капельницы, еще какие-то ремни тянутся к аппаратам. Рядом с койкой небольшой круглый стульчик.

— Можешь сесть на него и взять папу за руку, — чуть слышно шепчет мама. — Только ничего не говори! Если на экране вот эта вибрирующая зеленая линия изменится, позови меня!

Мама уже возле другой койки. В палате много людей в белых халатах, наблюдающих за приборами и шестерыми больными, поэтому Еве кажется, что ее мама сразу у всех шести кроватей, что ее зовут со всех сторон и она разбегается во все стороны. А зеленая линия-змейка светится ровно, что, если она прервется? Ева чувствует, еще миг — и она не выдержит, закричит: мама, не уходи, не занимайся другими! Потому что мама могущественная и силь-

ная, она сильнее смерти, все ее зовут на помощь, и она неустанна. «Опять ты думаешь о своих больных, мама, а сама мне красную кофточку обещала... Нет, не знаю, уже ушла, не знаю куда, она уже отработала свою пятидневку...» Кто был тогда тот тяжелый больной? Может быть, отец этой, в джинсах?.. Ну почему ты не отхлестала тогда меня по щекам, мама? Почему?

Чья-то рука ласково треплет ее по щеке. Мама.

— Ну, тебе надо идти. Сестричка Эрика отведет тебя в дежурку. Поспишь там немножко и снова придешь.

— Да нет, я лучше... — хочет возразить Ева, но чувствует, что падает от усталости.

— А сама ты, мамуля?

— Я еще нужна здесь.

— Мамочка, ну как он?

Агнеш через силу улыбается:

— Все будет в порядке. Иди, поспи.

На диване в дежурке Ева мечется между сном и явью. Плачет и молится богу. Прости меня, о господи, прости меня!

| ***ЕВА***

Верная подруга Кати каждое утро звонит Агнеш, спрашивает, как дела у Гезы.

— Спасибо. Пошел на поправку. Встает понемногу...

— Вчера поднялся на пять ступенек...

— ЭКГ хорошая...

— В следующий вторник, возможно, вернется домой...

— На работу? Думаю, скоро. Спасибо за звонок.

Агнеш кладет трубку и тяжело вздыхает. Геза выйдет на работу, только куда? Профессор Билькеи, его начальник, недели две назад навещал Агнеш. К Гезе в палату даже не заглянул.

— Самое хорошее, что мы можем сделать для больного, — это не навещать его, не правда ли? Я приехал поговорить с вами: обсуждали вы с мужем его дальнейшие планы?

— Конечно. Если все будет хорошо, через месяц-два он сможет приступить к работе.

Профессор одобрительно кивнул.

— А сколько лет нашему герою?

— Шестьдесят один год.

— И он не хочет отдыхать? Он ведь может писать научные статьи, консультировать больных... Мне самому уже шестьдесят четыре, и молодежь подпирает. Нет, пожалуй, будет правильнее, если...

— Если он подаст заявление на пенсию?

— Ну, пока что он на больничном. Хотя, в конце концов, вы и сами понимаете, дорогая коллега...

Агнеш сказала Гезе, что заходил Билькеи, пожелал скорейшего выздоровления. И, собравшись с духом, позвонила в министерство, Габору Кишшу.

— Вы знаете, что Гезу хотят отправить на пенсию?

— А как же, конечно! Очень активный молодой коллега приходит на место дяди Гезы. Любит путешествовать, говорит на десяти языках. Специализировался по терапии и эпидемиологии.

— И у Гезы такая специализация, — смущенно возразила Агнеш.

— Да, конечно. Но с дядей Гезой, к сожалению, приключилась беда. Тут ему никто не поможет. Желая выздоровления.

Об этом разговоре Агнеш никогда не расскажет Гезе, как и о том, что после долгих колебаний она позвонила Марии Орлаи.

В конце концов, почему бы не позвонить, они же не поссорились. Мария искренне уважает Гезу, она отличный врач и человек влиятельный. Пусть найдет ему спокойное место, например редактором «Терапевтических новостей».

Утром решила не звонить. В это время у Марии совещание, деловые бумаги, врачесный обход. Перед обедом — прием посетителсй. Может быть, сразу после обеда? По прямому телефону ответила секретарь. Холодно, вежливо.

Товарищ профессор в местной командировке.
Куда вам позвонить?

В тот же день вечером Мария сама позвонила Агнеш.

— Я слышала, Геза заболел? О, не знала, что так серьезно. Береги его, такой отличный специалист нам нужен.

— Да вот, оказывается, не нужен, Мария. Потому что профессор Билькеи отправляет его на пенсию.

— Так это же великолепно! — воскликнула Орлаи. — Несколько месяцев отдохнет, поплавает, наберется сил, почитает. А позже — если у него есть подходящая тема — может писать для нас, для «Терапевтических новостей». Я уверена, такой умелый и приспособленный к жизни человек легко найдет себе место на полставки в районной поликлинике или заводском здравпункте. Желаю ему скорейшего выздоровления, дорогая, и целую тебя.

На другом конце провода раздались короткие гудки, но Агнеш еще с минуту судорожно сжимала в руке трубку, не зная, что делать. На кого можно рассчитывать? — думала она. К кому обратиться? Что предпринять? Что сказать Гезе?..

— Мамочка...

Агнеш поворачивается. В дверях стоит Ева. Притихшая, перепуганная. С тех пор как заболел отец, ее не узнать — как-то вдруг вытя-

нулась, похудела, посерьезнела.

— Сервус, Ева. Сделала уроки?

— Мамочка, мне надо поговорить с тобой.

— Почему так торжественно? В чем дело, доченька, неужели получила замечание в дневник?

— Мамочка, я вполне серьезно. Папа вернется на прежнее место?

— Откуда у тебя такие мысли?

— Нет, в самом деле! Скажи.

Ей хочется улыбнуться, успокоить дочку, хватит с бедняжки и того, что обрушилось на нее в последние недели... Но тут почему-то ей вспомнилось, что Фери было столько же лет, сколько Еве, когда он дезертировал с фронта. Пережив миллион смертей и тысячу страхов, он пришел домой и сказал: «После всего того, что я видел, я уже не смогу сесть снова за школьную парту, теперь я буду кормильцем семьи...» Конечно, сейчас не об этом речь, Ева должна учиться дальше, но она должна и смотреть жизни в глаза.

— Не думаю, что он вернется на прежнее место. Может быть, потом он найдет себе другую работу.

— Как он переживает все это?!

— Наш папа — человек мужественный, он сможет реально взглянуть на вещи. И потом, он же хороший врач, такие специалисты везде нужны. Но сначала ему надо окрепнуть. Хорошо

бы, если б сразу же после твоих экзаменов вы поехали на Балатон. Сняли бы квартиру через туристское бюро, и папа немножко подлечился бы, я достану ему курсовку в кардиологический санаторий.

— Скажи, мама, мы богатые или бедные?

Гм, на этот вопрос не так легко ответить. У них хорошая квартира, вместе с отремонтированным старым «фольксвагеном» — три машины на троих. Цветной телевизор, магнитофон. Так что можно сказать, богаты, пока Геза работает. Пока он привозит из зарубежных командировок электронные часы, фотокамеры и миндальное вино. Но когда уйдет на пенсию... Едва ли хватит одной зарплаты на содержание трех автомашин...

— До сих пор мы жили на широкую ногу. Ты могла брать уроки английского, покупать абонемент в оперу, мы много путешествовали. Если нужна была хорошая литература по специальности, покупали за границей...

— Мамочка, скажи, а «чаевые» тебе дают? — Ева краснеет, смутившись от собственного вопроса.

— Конечно, — Агнеш расстроена. — Не хочу тебя обманывать.

— А может, было бы честнее, если б ты официально занималась частной практикой? Приходили бы к тебе постоянные пациенты, платили за прием, вот и все...

— Не хочу я заниматься частной практикой! Ты же знаешь, как все это...— Агнеш совершенно смутилась, оправдывается.— Ты пойми, Ева, только на зарплату не прожить на достойном врача уровне.

— А что такое достойный врача уровень?

— Что? Ну, хорошо одеваться, иметь машину, чтобы вовремя успевать в больницу, ездить на консилиумы и вообще... Ориентироваться во всем, повышать свою квалификацию, участвовать в конференциях... С самого начала я решила, что никогда, ни от кого не буду брать «чаевых», даже цветов. Но жизнь заставляет.

И Агнеш рассказала о Вере, молодом врач-отоларингологе, которая не так давно перевелась к ним из провинциальной больницы. Выросла она в семье сапожника, богатой только детьми — их было девять, — в глухомани, после школы училась на рабфаке, получала государственную стипендию и поклялась, что, став врачом, не возьмет с больных ни гроша. Но в той больнице, куда ее распределили, коллеги в первую же неделю разъяснили ей, что за прием каждого больного она в любом случае должна брать сто форингов.

«Я ни у кого просить не буду», — ответила Вера.

«Не будешь? Тогда тебе здесь не работать».

В первое же дежурство ей принесли трехлетнюю девочку — та поранила себе верхнее

нёбо чайной ложкой. Кровь так и хлестала, малышка надрывалась от крика. Вера зашила ранку, остановила кровотечение и госпитализировала ребенка, успокоив родителей: все в порядке, идите домой. Те плакали, благодарили, а под конец спросили: «Сколько мы должны вам, доктор?» Вера, не зная, что ответить, только рот разевала. «Сто форинтов», — выдавила она наконец. Сто форинтов были тогда большие деньги, по стоимости как сотня яиц или полкило кофе. Мать ребенка раскрыла сумочку. «У меня только двадцать форинтов», — сказала она мужу, и оба принялись шарить по карманам. У отца нашлось всего несколько филлеров. Кто думает о деньгах в такую минуту? Схватили ребенка — и бегом в больницу. Вере казалось, она сгорит со стыда. Она представила себе, что вот так сейчас могли стоять перед ней ее отец и мать, униженные, бедные. Ей очень хотелось сказать: не нужно никаких денег, идите спокойно домой, больница у нас бесплатная, но было поздно. Вечером пришел отец ребенка, принес сотню...

— Почему зарплата у врача такая, что он должен брать «чаевые»? — опять допытывается Ева.

— Видишь ли, все это не так просто. Зарплату официанта, парикмахера и таксиста исчисляют с учетом «чаевых». Но они, как все люди, и болсют, и прочее... Словом, постепенно

многие оказались на двух ставках, а то и на трех. Среди врачей тоже распространены «вторые ставки». Ты помнишь тетю Эдит в больнице, ту, что делала папе рентген? Рабочее время врача-рентгенолога — шесть часов, потому что рентгеновское облучение очень вредно для здоровья. Но тетя Эдит работает на двух ставках, это означает двойную зарплату плюс две доплаты за вредность...

— Что же с нами теперь будет, мамочка?

— Сдашь на аттестат зрелости, пойдешь учиться дальше.

— Я не стану сдавать на аттестат. Это можно и потом, в вечерней школе. Я пойду работать, на завод. Или в магазин — упаковщицей, в общем, все равно куда. Не думаешь же ты, что я буду сидеть дома и позволю тебе...

— Что позволишь?

— Ну, чтобы мы жили на твои «чаевые»...

— Ты неверно меня поняла. Я не требую денег, никогда. Думаешь, я вымогаю у бедного пенсионера последнюю сотню форинтов? Но бывают особые случаи. Люди хотят видеть во враче чудодея, которому можно доверить все. И как страшно им узнать, что есть так много болезней, при которых мы вообще ничем не можем помочь...

— Мама, я так верила в тебя, я знала, что ты его спасешь!

— Его спасла не я, главное тут выдержка

и оптимизм самого больного. Ну, и просто везенье...

— Мамочка, я на все для тебя готова!

— Вот видишь? Об этом и речь. Когда больной выздоравливает, его близким очень хочется выразить врачу свою благодарность, порадовать чем-то. И они приносят цветы, или корзину черешни, или красивую книгу, бутылку коньяка. Или... Да, да, «конверт». У врачей есть такое циничное выражение: с тех пор как финикийцы изобрели деньги, самый лучший подарок — «конверт». Но ты не сомневайся, Ева, как бы мы ни относились к деньгам и как бы мало их у нас ни было, я никогда не смогу «намекнуть» о них больному или его родственникам. Я одинаково отношусь и к богатым, и к бедным больным — делаю для них все, что могу. Мы будем жить с тобой поэкономнее, поскромнее.

— А чтобы нам хватало денег, я буду есть в два раза меньше.

— Глупенькая!

— И не нужна мне машина. Ну зачем мне отдельная машина? Как ты считаешь, что, если мы продадим «фольксваген»?

— Поговорим и об этом, и о многом другом. Конечно, нужно думать о будущем. Если ты, к примеру, замуж выйдешь, тебе квартиру нужно будет купить.

— Я никогда не выйду замуж!

— Ну, не сегодня, не завтра...

— Никогда. Мамочка, я никогда не выйду замуж. Иначе я буду такой несчастной!

— Что ты? Неужто плачешь?

— Нет, — отвечает Ева, а слезы так и льются у нее из глаз.

— Девочка моя, что с тобой? Влюблена?

— Да. Но он меня не любит. Даже не замечает. А я никогда... Ни за кого другого! Я хотела у тебя спросить: неужели люди такие изменчивые? Например, ты сначала была влюблена в дядю Яни, а потом — в папу...

— Чтобы быть точной, во-первых, я никогда не была влюблена в дядю Яни.

— А в кого же?

— Его звали Тибором. Я умирала из-за него, даже хотела покончить с собой. А ему было все равно, он меня всерьез не принимал. Вот он и был моей первой любовью.

— И это прошло?

«Прошло», — хочет сказать Агнеш и не может. Вот он стоит перед ее мысленным взором — милый, чуть ироничный, красивый, как цветущая ветка каштана. Бог мой, ты же видишь, «это» не прошло! Но Еву не интересует ответ матери, ей нужно поделиться своей тайной.

— Я люблю Иштванку! — шепчет она.

— Но ведь он на пятнадцать лет старше тебя!

— Только на тринадцать, мама.

— Возьми платок, вытри слезы. Взрослая влюбленная девушка — и нет носового платка!

— Когда в прошлый раз мы встретились у Института истории, он сказал: «Что ты тут делаешь? Хочешь мороженого?»

— А действительно, как ты очутилась возле Института истории?

— Я знала... зна-ла, когда он выйдет отсюда, и ждала.

Как переменился мир! — думает Агнеш. Когда-то я тоже торчала перед Национальным банком, ждала этих «случайных» встреч, но я под страхом смерти не призналась бы в этом матери.

— И вы пошли в кондитерскую?

— Пошли. Я пыталась завести разговор об истории, еще о чем-нибудь таком, но он все равно взглянул на часы и сказал: «Мышка, очень поздно, и тебе уже давно пора домой. Быстрее долизывай мороженое». Даже не проводил меня. Наверняка у него было с кем-то свидание. А я так люблю его...

Дитя мое! — думает Агнеш. Как помочь ей? А Гезе? А самой себе? Она берет дочь за руку.

— Пойдем, Ева, сочиним что-нибудь вкусненькое на ужин.

| ПРИЗРАКИ

Прошел вторник, прошел четверг. Еще один вторник и еще один четверг. Напрасно читатели ищут рубрику «Окно», третий месяц она не появляется на страницах газеты. Дежурный по номеру регулярно принимает Катины статьи, пишет: «В набор», а потом они почему-то оказываются в папке резервных материалов. Несколько читателей заметили отсутствие рубрики, прислали запросы: что с Кати Андраш, уж не заболела ли?

В один прекрасный день Кати отправилась к главному редактору и спросила, почему не появляются ее статьи. Если какая-то из них неудачна, почему он не скажет ей об этом?

— Много материалов скопилось, — буркнул Колгаи, не отрываясь от бумаг и всем своим видом показывая: разговор окончен. Что она решила относительно воскресного приложения, берется ли она за это дело, даже не спросил.

Первого числа Кати получила зарплату, затем еще раз, хотя в газете не появилось ни одной ее строчки. Читатели не вышли на демонстрацию с плакатами, не скандировали под окнами редакции, требуя появления статей Кати. «Пусть этот случай научит тебя скромности», — сказал бы в подобной ситуации Пал Баркань и отправил ее в ливень на другой ко-

нец Венгрии, чтобы научить дисциплинированности. Разумеется, сейчас другое время, сейчас, даже если сверху придет письмо какого-нибудь Балажа Ивани, ее не выгонят, не начнут служебное расследование, не посадят в тюрьму, не отрубят голову, но рубрика «Окно» не будет больше появляться в газете ввиду избытка материалов...

— Сколько можно это терпеть? — спрашивает Кати у заместителя главного редактора. — Я написала двадцать две статьи, и они валяются, никому не нужные. Зачем же я буду писать двадцать третью, двадцать четвертую?

— А ты пиши, пиши. И аккуратно сдавай в секретариат, — советует Имреи. — Может быть, он, шеф то есть, как раз и ждет, что ты не напишешь очередную статью, и тогда привлечет тебя к ответственности за отказ от работы, за манкирование своими обязанностями.

И Кати прилежно пишет свои комментарии, отвечает на письма читателей, только все с меньшей охотой и с большей усталостью. Может быть, в чем-то главный прав? И нельзя глядеть на свет через эти «жалобные» письма! Ну, нет молока для школьников, не работает лифт, но зато можно писать и о том, что больше никто не умирает на операционных столах из-за отсутствия донорской крови, что все дети до пятнадцати лет обучаются в школе бесплатно и бедняки не остаются за порогом, оттого что

у них нет обуви. И не хлещет больше арендатор батрака по щекам... За год приходит в редакцию до двадцати тысяч писем, но в половине из них спрашивают, не заболел ли известный киноактер, сколько раз Ричард Бёртон женился на Лиз Тейлор и почему так мало эстрадной музыки передают по радио. И вместе с тем это означает, что у двадцати тысяч человек есть время, энергия, деньги на авторучку, марку и бумагу, потребность в самовыражении и самоутверждении... Как сложен этот мир!

Она машинально пробегает письма одно за другим, группирует, подчеркивает в них что-то. И вдруг... Она вглядывается в имя и адрес отправителя. Что это? Какая-то фантастика! Габорне Лайоши, урожденная Изабелла Баркань. Изабелла Баркань! Не может быть. Таких совпадений не бывает. И фамилия Баркань редкая, и имя Изабелла тоже. В те времена, когда Пал Баркань работал в газете, у него родилась дочка, и он назвал ее Изабеллой. Многие подтрунивали над Барканем: как же это он, атеист и верный партиец, окрестил девочку католическим именем Изабелла? Баркань ледяным тоном заявил: «Все вы политически безграмотны. Изабелла Блюм — выдающаяся деятельница международного женского движения, и дочь названа в ее честь. Следующую дочь будут звать Марией, в честь Марии Кюри, третью — Кларой, разумеется в честь Клары Цеткин,

четвертую — Розой, в честь Розы Люксембург, и так далее». «А когда родится мальчик, назовете Иосифом Виссарионовичем?» — поинтересовался практикант Ференц Хорка. За дерзкий вопрос Хорку выгнали из газеты... Но если Габорне Лайоши действительно дочь того самого Барканя, почему она обращается к журналистке, защищающей обездоленных? Розыгрыш? Злая шутка? Провокация? Ведь и письмо ее тоже какая-то несусветная чушь.

«Я молодой специалист, проживаю в селе Борш, получила назначение на работу в Дом культуры соседнего села, Харшаштаня, это в шестнадцати километрах. Мой муж работает в кооперативе мебельщиков, у нас трехлетний малыш. Раньше я каждый день ездила на работу и обратно, но вот уже два месяца вечером после работы я не возвращаюсь домой и сплю в Доме культуры на узком диванчике, потому что село Харшаштаню я могу покинуть только по письменному разрешению доктора Сухай-Кашша, возглавляющего административную группу сельского совета...»

Что это? Такого не может быть. Бедняжка, наверно, она сумасшедшая. Хотя, судя по почерку, не похоже. И не может она быть дочерью Пала Барканя. Кто посмеет учинить такое с дочерью Барканя? Или всемогущий Баркань уже низвержен?

Кати откладывает письмо, но тут же снова берет и читает еще раз с начала до конца. Нет, это явный розыгрыш! В наши дни такое просто

невозможно. Двадцать пять лет назад Баркань мог приказать ей: «Завтра утром в семь часов быть на вокзале, поедете с фотографом в Репцилак!» На вокзал, разумеется, никто больше не пришел, и в Репцилаке тоже не произошло ничего такого, ради чего стоило туда ехать. Но Баркань орал на нес: «С чего ты взяла, что надо ехать в Репцилак? Я сказал — в Беретёуфлу! Лентяйка! Саботажница!» Дома Кати ждал маленький ребенок, но она ехала в любое время, в любую погоду. Ведь она была единственным кормильцем в семье. Боже правый! Еще и сейчас, двадцать пять лет спустя, сердце начинает колотиться от возмущения!

Почему именно мне пишет Изабелла Баркань? Разве она не знает, как я ненавидела ее отца?! И что стало с этим самодуром? Жив ли он еще? Надо бы разобраться во всем этом деле. Тут какая-то тайна.

Придя в редакцию, Кати на большой карте пытается отыскать Харшаштаню. В секретариате редакции суматоха, снуют туда-сюда люди. Помощник заведующего приносит верстку завтрашней газеты. На шестой странице... Кати вздрагивает: она видит свою статью, сверстанную в рубрике «Окно». В рамочке и подпись факсимильная. Надменная секретарша главного сегодня сама любезность.

— Сервус, Катика! Как раз собралась сходить за тобой. Шеф уже разыскивал тебя.

В кабинете главного редактора за столом вместо Колтаи сидит Имреи, его заместитель. Кати удивленно смотрит на него.

— Ты здесь?

— В данный момент — временно исполняющий должность главного редактора.

— А Колтаи?

— Ты что, не слушала сегодня радио?

— Нет. А что случилось?

— Автомобильная катастрофа. Они вместе с Балажем Ивани ехали на совещание. За рулем был Ивани. Неправильный обгон, они врезались в рефрижератор. Колтаи не был пристегнут ремнем безопасности и вылетел через лобовое стекло. Он скончался на месте. Ивани — в тяжелом состоянии. Видимость на дороге была хорошая, плотно шоссе сухое...

— Он не был пьян?

— Наверняка. Актуализируй все свои статьи для «Окон», а в воскресное приложение постарайся дать что-нибудь совершенно свеженькое...

Лицо Имреи непроницаемо. Как он относился к Колтаи, переживает ли его трагедию? В его голосе Кати почувствовала только потрясение случившимся. В таких случаях положено говорить что-то вроде: «какой ужас», «бедный шеф»... Но и она тоже не посмела проронить ни слова. Не чувствует она и злорадства. Нет, лишь тупую головную боль. И молча смотрит на

столешницу, на потертое кресло главного редактора. Здесь когда-то сидели Пал Баркань, Балаж Ивани, Бела Колтаи. Все это уже в прошлом.

Она совершенно забыла о том, что хотела посмотреть настенную карту. Кати возвращается в секретариат, ищет Харшаштаню и расписание поездов. До Харшашгани ходит только пассажирский — с пересадкой в Ленинвароше. Кати возвращается к себе в кабинет, где трезвонит телефон. Это Агнеш.

— Мои уехали вчера на Балатон, уже звонили оттуда, говорят, все в порядке. А я взяла отгул на два дня, чтобы съездить в Шомошбаню. Ты знаешь, с тех пор как Геза заболел, я не видела маму. Она такая одинокая, бедняжка. Яни-младший наслаждается «сладкой жизнью» в Париже, тетя Илона болеет... Ты не хочешь со мной прокатиться? Завтра утром выедем, послезавтра вечером вернемся.

— Я бы с радостью, Агнеш, но мне завтра надо съездить в Харшаштаню.

— Это где такая? Не слыхала никогда.

— До сего дня и я тоже. Сейчас вот отыскала на карте. От Ленинвароша приблизительно тридцать километров. Оттуда поступила совершенно фантастическая жалоба.

— Сколько времени это займет?

— Не знаю, может быть, час, может быть, два.

— Знаешь, я тебя туда отвезу. Сделаем маленький крюк. Мне так хочется увидеть тебя, поговорить!

— Агнеш, ведь этот крюк — если в оба конца — сотня километров.

— Ничего. Ну, едем?

— Конечно, едем.

| *В КЛЕТКЕ*

Анталу Сухаи-Кашшу неожиданно стало так плохо, словно он объелся свинины. Болит голова, тошнит. Очень хочется выйти на свежий воздух или выпить стакан сухого вина. Состояние такое мерзкое, что он не может больше работать.

— Идите, — говорит он рыхлому, взмокшему от страха человеку. — И в другой раз не вздумайте... — Он никак не возьмет в толк, что тот натворил: спустил собаку без намордника или без разрешения занял тротуар под выгрузку вещей.

— Остальные приходите на следующей неделе, — говорит Кашш и выходит из комнаты, где целая толпа совершивших правонарушения ожидает его сурового приговора.

Может, перепил? — размышляет он. Тогда надо чашечку кофе пропустить... Что-то со мной случилось.

Давно уже не испытывает он наслаждения, видя перед собою перепуганные лица виновников и просителей, не представляет себе, как лупит их по головам, по мордам, как срывает с женщин одежду. Теперь перед ним лежат только пыльные горы нудных бумаг, сквозь которые нужно продирааться, выгрызая себе лаз к дому. Ни конца ни края! Мелкие, жалкие подробности: нарушение правил оформления опеки над престарелым родственником, жалоба учителя на какую-то мамашу, что та не пускает своих детей в школу... Ну какое ему до этого дело? Поначалу хоть Эден подавал идеи: прикажи, чтобы перенесли остановку автобуса на другую улицу. И распорядись закрыть молочную рядом с моим домом — по утрам они будят меня грохотом фляг и бидонов. Если, чтобы перед каждым домом высадили на клумбах турецкую гвоздику...

Остановку перенесли, молочную тоже. Домовладельца Переи наказали за то, что вместо турецкой гвоздики он посадил розы. Учителя Форгача тоже строго предупредили, чтобы вечером в девять часов он собрал человек тридцать мужчин, женщин и детишек и привел их к Дому культуры: в селе Харшашганя должен быть народный хор. Будущие хористы собрались, но Дом культуры оказался закрыт, потому что за директором в восемь вечера приехал на мотоцикле муж и увез домой, в село Борш, хотя

продолжительность рабочего дня культработника определяет руководитель административной группы сельского совета. Он вызвал эту соплячку, заставил написать под диктовку четыре страницы — обязанности директора сельского Дома культуры — и велел отныне без разрешения властей не покидать село Харшаштаня. Габорне Лайоши не плакала, не спорила, просто молча расписалась, что ознакомилась с распоряжением, пожала плечами и пошла к выходу.

«Вернитесь! — заорал он ей вслед. — Немедленно вернитесь! У вас что, есть возражения?»

Лайошне взглянула на него — то ли насмешливо, то ли наглогато — и ответила: «Вы правы, пока вы мой начальник»...

— Дай чего-нибудь выпить! — как всегда, говорит Сухай-Кашш, заявляясь к Эдену Жилле. Ровно в пять часов тот заканчивает прием больных. Тем, кто еще сидит в приемной, рекомендует принять аспирин или прийти на следующий день. После этого он сбрасывает халат и достает из бара бутылки.

— Виски?

— Виски без содовой.

— За наше здоровье! Послушай, Тони, у меня есть великолепная идея!

— Какая же? — переспрашивает гость и одним глотком опорожняет стакан. — Дай еще.

— Совсем не обязательно напиваться до чертиков, — высказывает сомнение Эден, но стакан все-таки наполняет. — Так ты слушаешь? Я присмотрел тут себе небольшой домик, к сожалению, пока он принадлежит чете пенсионеров, учителей. Это на хуторе по проселку Борока. Отбери у них его. Для меня.

— Да ты с ума сошел! На каком основании я конфискую жильё у стариков?

— Мне ли обучать тебя административному праву? Ты уж сам придумай основания. Например, строительство автострады или завода, нового жилого массива, а то какого-нибудь центра отдыха трудящихся или игровой площадки для пионеров и пенсионеров...

— Для этого нужны проекты и много всяких бумаг.

— А мне нужен дом! Остальное — это уже твои проблемы.

Сухай-Кашш смотрит на календарь. Может, этот календарь всегда висел на стене, над столом Эдена? А может, это его новое приобретение? Но факт остается фактом: Кашш до сих пор почему-то не замечал его. Над фотопейзажем краснеет огромная надпись: *28 МАЯ*. Эмилев день! В распахнутое окно виден сад и обрамляющая его густая изгородь цветущей сирени. Из-за листьев-сердечек выглядывают лиловые гроздья. Небо безоблачное и синее. Антал Кашш поднимает стакан.

— Я пью за Эмиля из рода Эмилиусов, что по-латыни означает: «соревнующийся, состязующийся».

— Что с тобой?

Голос Эдена доносится откуда-то издалека. Что с ним? Да ничего! Просто сегодня 28 мая, Эмилев день. В этот день у них на кухне варят куриный суп, сбивают крем для шоколадного торга, пекут пирог. В столовой — большой стол под белой скатертью, старинный фарфор «Альтвиен»¹. Прислуга надраивает потемневшие серебряные ложки. Эмилю надевают праздничный костюмчик. Чинно рассаживаются вокруг стола, и дедушка, его благородие Эмиль Паланкаи фон Надьпаланкаи, кивком подает знак. Эмиль поднимается, красный как рак, и тараторит: «Эмиль — от латинского слова «эмилиус», что означает «соревнующийся, состязующийся». В качестве консула в 218 году до рождества Христова Эмилиус Паулус защищал от Ганнибала Сагунт, крепость в Иберии...»

— Чего ты там лопочешь?

В руках у дедушки бокал с вином, он поднимает его все выше и выше. Если Эмиль без ошибки перечислит всех Эмилей в роду, ему тут же разрешат отхлебнуть глоточек вина. Дедушка улыбается, треплет внука по щеке. «Ты да-

¹ «Старая Вена» (нем.).

леко пойдешь, внук мой! Не посрамил имени своего»...

— Виски!

— Может, все-таки кофе?

— Я пить хочу.

В Надьпаланке их родовое имение. Удобный, большой дом, службы, конюшни. Эмиль — состязающийся, соревнующийся. Эмилю восемь лет. На следующий год он уже сможет ездить верхом. Ему нужно обучиться многому: верховой езде, фехтованию, плаванию, ходьбе на лыжах. В следующем году он с матерью поедет в Земмеринг.

Пока Ганнибал штурмовал крепость Сагунт в Испании, неся поражение иллирийцам, Эмиль во времена диктатуры Фабия Кунктатора, в 216 году до нашей эры, во второй раз стал консулом.

Восьмилетний Эмиль выучил наизусть весь этот текст. Он, правда, не совсем помнит, как Эмилиус вел себя в битве под Пидной. «...против македонского царя Персея... захватив огромные трофеи...» — декламирует он до того самого места, где Сципион Эмилианус Африканский... И чувствует, что это он сам стоит под стенами Карфагена, еще немного, и он снесет их и покорит пунов. Тут дедушка протягивает ему бокал с вином и говорит: «Выпей, внучек, ты достоин своего имени!»

Эден всерьез перепуган: Эмиль пьян мерт-

вещки, но все еще кричит, требует вина.

— Ложись спать. Не дури! Я тебя домой не доведу. И так все село ржет над тобой.

— Надо мной? Надо мной?! Всякого, кто засмеется, я собственноручно убью. Дай выпить! Ты что, не понимаешь? И выгони отсюда эту бабу!

— Нет здесь никого. Тем более бабы.

Как это никого? Здорово этот идиот напился, раз никого не видит! Вон она стоит — Изабелла, видите ли, директор Дома культуры. Ишь ощерилась! «Вы правы, пока вы начальник!»

— Я всегда буду твоим начальником! — кричит Сухай-Кашш. — Всегда! Ясно? Через два месяца Матёфи уходит на пенсию, и я стану вместо него председателем совета. Доктор Сухай-Кашш — председатель совета! Еще десять лет, пятнадцать лет я буду командовать вами и ходить по вашим грязным улицам! Сейчас Ангалу Кашшу сорок восемь лет, а мне пятьдесят четыре. Почему я должен отрабатывать лишних шесть лет ради того, чтобы какой-то Кашш получал свою убогую пенсию?! Где мое доброе старое имя? Я Эмиль из римского рода Эмилиусов. Вперед, самураи, вперед, воины! Дикиру даке хаяку кимасу... Иду, пока могу! Надо выползти, выползти из этой проклятой змеиной шкуры. Отпустите меня, я — Эмиль Паланкаи!

— Да спи ты, не ори! — говорит Эден и волоком тащит его к дивану.

— Касикомаримасита! Слушаю и повинуюсь, — отвечает Эмиль и проваливается в темноту.

Из этого непрерывного пьянства он уже, наверное, никогда не выберется. Он словно в клетке. По утрам он встает как избитый, ничего не соображает, с больной головой кое-как исполняет свои обязанности и редко досиживает до конца рабочего дня. Без аппетита жует то, что ему приготовит Фаддяшне. Потом либо бежит к Эдену, либо валяется на кровати в ботинках, в одежде, поверх красивого кружевного покрывала. Рядом с кроватью стоит большой бидон с красным вином. Пьет он немного: довольно и полстакана, чтобы опять отключиться. Надо кончать с Анталом Сухай-Кашшем. Лучше всего записаться в туристскую поездку. Скажем, в Париж. В последний день где-нибудь возле Эйфелевой башни он отстанет от группы. Бросит свои документы в Сену, и нет больше Антала Кашша. Умер, эмигрировал. «А как мы верили в этого негодяя!» — скажет начальник отдела кадров. «То-то у него глаза бегали», — будет твердить толстый председатель совета. А Эден тотчас откажется, что вообще был знаком с таким. На остаток денег Эмиль проживет несколько дней в столице Франции, потом обратится в венгерское посольство: «Я Эмиль

Паланкаи. Двадцать лет тому назад совершил ошибку. Сейчас хотел бы вернуться на родину. Помогите мне...» Нет, так не пойдет. Если двадцать лет жил во Франции, почему же не знает ничего по-французски? Почему нет денег, чтобы купить билет до Будапешта? Надо отстать от группы в Вене. Или сразу покупать туристскую путевку в Вену. Но Вена — это слишком уж близко от Венгрии!

Пьяный Антал Кашш соображает туго. А лучше добраться до Токио. Ну конечно, поехать по туристской путевке в Японию! Да, нужно ехать туда. Кё мо дэкакэнакэрэба наримасэн! Кё мо дэкакэнакэрэба наримасэн! Прямо во дворец, к императору. Упасть перед Сыном Восходящего Солнца. Сказать: «Я — венгр из рода Эмилиусов, мой предок был Сципион Эмилиус Африканский. Хочу быть камикадзе! Ваше божественное величество, хочу быть вашим нижайшим слугой!» Ну конечно, если в Токио можно прожить знанием японского языка. И если на него сразу же не набросятся тысячи вооруженных самураев и не закричат: «Шпион, шпион!» И не изрубят его своими кривыми мечами. Тогда он умрет, как подобает герою, как Эмилиус Луциус Паулус в битве при Каннах. Да, ваше величество, кё мо дэкакэнакэрэба наримасэн.

— Извините, я не знала, товарищ Кашш, что вы дома...

В комнату входит Фаддяшне, зажигает свет и ставит на стол ужин.

— О, вы и обед еще не съели?! Уж не заболели ли вы, товарищ Кашш?! Я позову доктора Жилле.

— Не надо! Со мной все в порядке, — рычит потомок Сципиона Африканского.

НЕОЖИДАННАЯ ВСТРЕЧА

Стояло летнее утро. Над Дунаем качалась легкая дымка тумана. Агнеш и Кати проехали по сонным еще улицам и выбрались на автостраду. Мимо проплывали холмы Гёдёлё, все купалось в ласковых солнечных лучах.

— Надо бы почаще устраивать себе такой отдых. Да и в бассейн походить не мешало бы, — сказала Агнеш. — И главное — встречаться почаще. Но будем довольны и тем, что есть: судя по всему, прогулка нас ждет чудесная.

— Ну что ж, давай наслаждаться жизнью. Только не гони так. Остановимся где-нибудь, выпьем кофе, а?

— Возле Надьреде, хорошо?

Они остановились у ресторана с поэтическим названием «Виноградник», если под тентом на террасе, заказали кофе и закрыли глаза, подставив ноги под колючие лучики солнца.

— Ох, какая же я все-таки лошадь! — встрепенулась Кати. — Давно уже хотела рассказать тебе, но каждый раз все забывала. Ты знаешь, кто тут меня недавно навестил? Гизи Керн!

— Гизи Керн? Вот это да! Когда же мы потеряли ее из виду? Году в сорок шестом...

— Она уехала в провинцию, вышла замуж, стала учительницей, — рассказывала Кати.

— Я так и думала, что портнихи из нее не выйдет, — засмеялась Агнеш, — она, пожалуй, даже со мной могла бы посостязаться в отвращении к рукоделию... Хорошая она была подруга. И смелая, и отзывчивая, а какой конспиратор!.. Боже, вспомнишь те времена — и не верится, что все это с нами было. Как бы я хотела с ней встретиться.

— И угадай, какой она подарок мне принесла? Ты знаешь, у меня не осталось ни одной фотографии Иштвана. А теперь вот, посмотри. — Кати открыла сумку и достала любительскую фотографию. — Здесь, кстати, и твой Тибор есть.

На фотографии было трое молодых мужчин: в белом халате — Иштван Ач, в военной форме — Тибор и Тамаш Перц. Какие они все молодые! И как уверенно смотрят и улыбаются, словно хотят сказать: «Не надо ничего бояться. Рано или поздно война кончится, и тогда вся жизнь перед нами!» Для Тамаша Перца

война так и не кончилась. Его тело, изрешеченное пулями, нашли на улице Гонведа... Почему воспоминания причиняют такую острую боль? Надо бы попросить Кати, чтобы она разрешила ей сделать копию...

— Агнеш, а ведь прошла наша жизнь.

— Но зато у нас выросли дети, и...

— Ты что-нибудь знаешь о Тиборе?

— Ничего. В последний раз я видела его в Париже, восемнадцать лет назад... Поехали? Да, кстати, что это за «фантастическая жалоба»; о которой ты говорила?

— Мне написала дочь Пала Барканя — помнишь его?

— Кто такой Баркань, не помню.

— Ну как же! Он одно время был моим начальником в «Свободной газете». Как мог, портил мне жизнь. Гонял по заданиям чуть свет — и в дождь, и в мороз.

— Постой, постой! Помню! Ты тогда даже заболела, гипертонический криз получила. На что тебе сдалась его дочь!

— Знаешь, там такое творится! Если, конечно, она правду пишет. И именно потому, что она дочь Пала Барканя, я должна особенно тщательно во всем разобраться.

Возле городка Фюзешабонь они свернули с автострады. Золотилась густая пшеница, огромными, величиной с большое блюдо, головами кивали подсолнухи, улыбались усыпан-

ные ягодами черешневые сады, кудрявились огороды, тянулись бесконечные теплицы, покрытые пленкой. На околице села побежали навстречу новые каменные дома. Село было богатое. Но тщетно они искали Дом культуры, спрашивали у прохожих.

— Это где-то там, у железной дороги, — неуверенно говорил один.

— Да нет тут никакого Дома культуры! — возражал другой.

— На центральной площади, напротив сельского совета, — наконец услышали они, а потом и еще точнее:

— Возле трактира.

Едва выйдя из машины, они сразу же увидели Изабеллу Баркань. Ее нельзя было не узнать: те же, что у отца, темные курчавые волосы, карие глаза, выступающий подбородок. Директор Дома культуры мыла крыльцо.

— Я Каталина Андраш. Это моя приятельница доктор Агнеш Чаплар. Это ты написала мне письмо?

— Да. Наконец-то! А я уж и не чаяла, что вы приедете! Проходите, я только руки вымою.

— Ты здесь кем работаешь?

— Я — бедная служанка культуры. Мою полы, крашу стены и забиваю гвозди в сломанные стулья. Иногда, если остается немножко времени на культуру, руковожу кружками, вы-

даю книги в библиотеке. Но это как раз та часть моих обязанностей, которой можно и пренебречь. У кого есть хоть что-то в голове, садятся утром на поезд и едут работать в город. Остальные заняты в мастерских и на полях кооператива. Вечером и те и другие пьют: сначала в трактире, а когда он закроется — дома. Здесь у всех есть своя самогонка. Пойдемте, взгляните на наш молодежный клуб. Я, правда, там сегодня еще не убирала.

Дом культуры оказался постройкой в стиле пятидесятых годов. Основную его часть занимал огромный зал с маленькой сценой и очень грязным занавесом.

— Этот зал используется дважды в году: для обсуждения отчетного доклада правления кооператива и для выборов исполкома сельского совета. Когда-то приезжали сюда театры из Сольнока и Дебрецена. Приезжали и артисты из Будапешта. Но дело это дорогостоящее, себя не окупает. Молодежный клуб ютится в маленьких артистических уборных за сценой. Стенки, разделяющие уборные, разобрали, и теперь здесь играет оркестр из трех человек и собирает цвет местной молодежи.

Изабелла Баркань распахнула дверь, и навстречу хлынули клубы табачного дыма, тошнотворный запах мокрых окурков. Что-либо разглядеть было невозможно, даже если зажечь свет. А лучше и не зажигать: на полу грязь по

колени, битые бутылки из-под «кока-колы» и пива, на столе — словно разорванное боевое знамя — забытый бюстгальтер.

— Вот это да... — протянула Агнеш.

— Да, вот так! — Изабелла Баркань горько усмехнулась. — Два раза в неделю убираю за этими поросятами. Но они хотят собираться здесь каждый вечер. А вообще в селе наш клуб называют «Ямой»... Могу я предложить вам кофе? Кофе — моя собственность, кофеварка тоже, и чашки я купила за свой счет. У меня есть письменное разрешение Сухай-Капша, что я могу варить себе кофе. Я плачу за пользование электричеством восемнадцать форинтов в месяц.

— А скажи, Изабелла, как тебе пришло в голову написать именно мне?

— Я читаю ваши «Окна» и верю вам. Знаю, что вы неподкупны.

— А знаешь ли ты, что я ненавижу, да-да, ненавижу твоего отца, если журналист Пал Баркань действительно твой отец.

— Да, это мой отец. Его все ненавидят.

— Все?

— Все.

— И ты тоже?

— Я — нет. Мне очень жалко его. Мать его бросила, когда я была еще дошколенком. Трех моих сестренок она забрала с собой.

— Марию, Розу и Клару?

— Да. А откуда вы знаете?! Вы их в самом деле знаете?

— Нет. Только слышала о них.

— А меня отец не отдал. Сказал матери, что иначе не согласится на развод. Так и вырастил меня один. С тех пор я не видела ни маму, ни своих младших сестреночек. Может быть, их уже и в живых нет. Отец — очень больной человек.

— Что с ним? Чем он болен? — спросила Кати.

— Страхом.

— Каким страхом? Чего он боится?

— Просто говорит: страшно — и все.

Кати от удивления не знала, что и подумать. Беспощадный, всемогущий Баркань — и вдруг патологический страх... Несовместимо.

— А чего он боится?

— Всего и всех. Он давно такой. Засыпает, только если забаррикадируется стульями, и на тумбочке всегда лежат нож и пистолет. Ночью скрипит зубами, вскрикивает и во всех вокруг видит контрреволюционеров, саботажников, которые хотят свергнуть народную власть. Я еще маленькая была, в начале пятидесятых, родители вместе жили. Один раз мать приходит домой и говорит: ужас, молока нет. Отец как начал орать, схватил плетку и хлестал ее до крови. За то, что она якобы распространяет панические слухи. А меня избил, когда я вышла

замуж за Габора Лайоши, потому что его старший брат сбежал на Запад. Но Габору в ту пору и было-то всего девять лет...

— Сейчас ваш отец живет один?

— Была у него сожительница, да, видно, и она не выдержала — сбежала. Я как-то зашла к нему и слышу крик: «Ты сам изменник! Ты сам фашист!» Стоит перед зеркалом, глаза вытаращил, на свое отражение кричит. А меня увидел — обозлился и прогнал.

— Да... Мне даже жаль его, — проговорила Кати. — Ну а тебе я чем могу помочь?

— Сначала почитайте приказы Сухаи-Кашша.

— Пойдем, Агнеш, такого ты еще никогда не видела! — сказала Каталина подруге.

В действительности все оказалось страшнее, чем написала Изабелла Баркань. Приказ Сухаи-Кашша состоял из двухсот пунктов: должна, должна, должна; запрещается, запрещается, запрещается. И в конце: не имеет права отлучаться из села без письменного на то разрешения.

— Но это же средневековье!

— Глазам своим не верю!

— Я много чего видела до сих пор, но такое... — изумленно повторяла Агнеш. — Кто этот Кашш, сколько ему лет, что он за человек?

— Подонок. Все село его ненавидит. Пьет как сапожник. Диву даешься, как он до сих пор

белую горячку не получил или цирроз печени. А может, у него уже и то, и другое, да только его каждый раз врач выручает, его дружок закадычный. Они и пьют вместе. Этот Жилле...

— Кто? — вздрогнув, перебила Кати. — Как зовут врача?

— Эден Жилле. Не то его так зовут — Эден, не то дразнят. Толстый, противный тип. Как говорится, скажи мне, кто твой друг...

Кати вся дрожала от возмущения. Вот где спрятался фашист! Это он в последние дни войны учинил кровавую резню в больнице Святой Каталины и стал причиной смерти Иштвана Ача! Какой-то страшный сон. Она едет в деревушку, о которой и слыхом не слыхивала. Едет, чтобы защитить дочь Пала Барканя, и находит здесь — кого бы вы думали? — Жилле. Наверняка это он!

— Я хочу увидеть его! В глаза ему посмотреть... Мне нужно убедиться, что это он! — Красная от гнева, Кати выбежала из маленького кабинетика Изабеллы. — Покажи мне, где приемная участкового врача!

— Ну зачем ты пойдешь туда? Что ты у него спросишь? — Агнеш положила руку на плечо Кати. — Брось! Пошел он к черту!

— Конечно, — согласилась Кати. — Конечно. Но знаешь...

В этот момент Изабелла Баркань показала им на здание сельского совета.

— Да вон они и сами. Обратите внимание, сейчас пройдут мимо, и ни один не поздоровается. Даже если натолкнутся на меня. И не ответят на мое приветствие.

Двое мужчин, пошатываясь, приближались к ним, видно было, что они уже «заправились».

— Это он! Я сразу узнала его! Господи, это же он! — прошептала Кати и заплакала. — Жив, гад! А Иштвана давно уже нет...

В это время Агнеш вглядывалась в Сухай-Кашша, не веря своим глазам. Да ведь и приятеля его она знает! Костлявое лицо, колючий взгляд. Глазищи горят, как у волка. Нет, не может быть! Это же какое-то сумасшествие! Как сюда мог попасть Паланкай?! Он же давно или на Запад сбежал, или в тюрьме сидит. Не может быть, чтобы это был Паланкай! И все же! Все же!

Мужчины были уже совсем близко. Эден Жилле скользнул равнодушным взглядом по незнакомым лицам, а Сухай-Кашш вздрогнул. Агнеш совершенно отчетливо видела, что он вздрогнул, полоснул ее взглядом и тут же ускорил шаг. Жилле пришлось семенить позади.

Это был он! — подумала Агнеш. Вот только нос... Но он мог сделать себе операцию, исправить свой кривой нос... Сухай-Кашш — это Паланкай! Неввероятно, но я узнала его!

Простившись с Изабеллой Баркань, по дороге к Шомошбане Кати, все еще дрожа от воз-

мущения, продумывала статью для следующего «Окна»: о средневековых методах, которыми пользуется сумасшедший бюрократ Сухай-Кашш. Агнеш сжимала руль и повторяла про себя: «Это был он! Он узнал меня!»

А Сухай-Кашш, свернув в улочку, которая вела к его дому, побежал бегом.

— Да что с тобой, черт побери? — тяжело дыша, хрипел ему вслед Эден. — Так ты дашь мне тысячу форинтов?

— Не лезь ко мне с этой чепухой. И вообще отстань: у меня срочное дело!

— Да ты пьянее пьяного, — пришел к выводу оскорбленный Эден. — Если б ты был настоящий друг, давно бы конфисковал для меня дом у того старикашки. Я тебе не меньше сотни раз напоминал. А бедный дядя Норберт... — И Эден захохотал. Время еще не подошло к обеде, но он уже основательно накачался водкой. — Ладно, давай сюда тысячу, и ты меня не видел! Несчастный старик, у него неожиданно возникли проблемы с книгой. Он пишет: государственное издательство по непонятным причинам заявило, что не в восторге от мемуаров, но не возражает, если автор издаст их за собственный счет. Для этого, разумеется, нужно найти меценатов и подписчиков. И немалую сумму. Карлсдорфер уже внес тысячу, старый Паланкай тоже обещал, что-то даст и Андраш Кремпельс. И если жив еще в тебе рыцарский

дух рода Жилле... это всегда было благородной дворянской традицией — покровительствовать литературе. Михай Танчич как собирал деньги на издание своих книг? А Аттила Йожеф?.. Ты слышишь, Эмилио? Ощущаешь величие духа? Ты тоже можешь кинуть в общий котел. А дядя Норберт напишет о благородных деяниях рода Сухай-Кашшей.

— Оставь меня в покое! Не понимаешь, что ли, у меня дела!

— Тогда пошел к черту, — обозлился Эден и сам пошел в сторону амбулатории.

Сухай-Кашш влетел в квартиру и сшиб Фаддяшне, делавшую генеральную уборку.

— Бросьте вы этот пылесос! Сходите в сельский совет и скажите Фери, чтобы через пять минут был здесь с машиной! Мне срочно нужно в областной совет.

— Слушаюсь, — сказала Фаддяшне.

Еще с минуту Сухай-Кашш колебался, затем вынул чемодан и принялся пихать в него все, что под руку попадет: рубашки, пижамы, наугад схватил один из костюмов, а сверху положил учебник японского языка. Он не позволил шоферу убрать чемодан в багажник и бросил его на заднее сиденье.

До города ехали молча. В центре шофер спросил:

— Прикажете к ратуше, товарищ Кашш, или в областной комитет?

— Кё мо дэкакэнакэрэба наримасэн!

— Извините, не понял, товарищ Кашш.

— Не понял, не понял! Дурак, что ли? Кё мо декакэнакэрэба наримасэн. Не можешь ответить касикомаримосита?!

Лицо доктора Сухай-Кашша исказилось, глаза налились кровью, и он заорал, как испорченная грампластинка:

— Касикомаримасита! Касикомаримасита!!

— Понял,— сказал шофер и быстро свернул в сторону больницы.

ПРОЩАНИЕ С МОРЕМ

Агнеш вновь и вновь перечитывает письмо и не может прийти в себя. Длинный элегантный конверт, обратный адрес месье Тибора Кеменеша. Она узнала бы этот почерк из десяти тысяч.

«Дорогая Агнеш, in medias res¹: имею честь сообщить Вам о помолвке Вашего сына Яноша с моей дочерью Моникой. Я в полном отчаянии, однако совершенно ясно, что это перст судьбы. В том смысле, что мы с тобой ничего не можем поделать.»

Дочери моей семнадцать лет, славная синеглазая девушка с темно-русыми волосами (фотография прилагается), ее мать, Моника Биянчи, танцовщица,

¹ Сразу к делу (лат.).

пять лет назад оставила нас. Из этого следует, что дочь я воспитал сам, и, по-видимому, не худшим образом. Она не умеет стряпать, стирать, убирать, не умеет и не желает. Зато превосходно плавает, танцует, фехтует, играет в теннис. Весьма самоуверенная особа, она становится смиренной перед единственным существом на свете — перед Вашим сыном, милая Агнеш.

Я пытался сделать все от меня зависящее, чтобы повернуть голову моей девочки в правильную сторону. Вместо желанного для нее супружества пообещал ей новенький автомобиль «форд-капри», поездку в Африку и в Серенгети.

Но что мы можем поделать, Агнеш, такова сила любви. Примите это известие с пониманием и благословите двух сумасшедших. Развестись они всегда сумеют, не так ли?

Целую Вам руку. Тибор».

Не может быть, не может быть, не может быть! К письму действительно приложена фотография. Агнеш вспоминает старую карточку, которую видела у Кати, и мысленно сопоставляет с этой. У дочери Тибора волосы чуть темнее, но та же улыбка, тот же милый, ироничный взгляд. Какая случайность... или перст судьбы, предначертание? Они встретились, но одним поколением позже. Ее внуки будут внуками Тибора...

Ничего удивительного, что Яни-младший не устоял перед Моникой, если Моника даже

хоть чуточку, самую малость похожа на отца. Может быть, и нет ничего другого на свете, только первая любовь. Только Тибор. Всю жизнь она сравнивала других — лишь с ним, лишь его искала, первого, единственного, молодость свою. Тибор вставал перед ней на всех поворотах судьбы. Тибор... Ну что ж, теперь речь идет об их детях — о дочери Тибора и о ее сыне.

Агнеш рассматривает письмо. Надо поставить в известность Яни, в конце концов, он отец...

Яни Хомок уже полгода живет в Пеште — ему предложили пост главного инженера, помогли получить двухкомнатную квартиру в новом микрорайоне.

Когда Агнеш позвонила, Яни уже все знал. Рвал и метал от ярости. С ума сошел этот мальчишка?! Соображает, что делает? Венгерских девушек ему мало? Да твой зарвавшийся братец потому и сманил его в Париж, чтобы он там женился и там увяз!

— Но Янко писал, что после женитьбы он здесь хочет жить.

— Здесь? С таким розанчиком из западной оранжереи? Да я даже говорить с ней не смогу. Чужая она мне будет. У нее другие привычки, другие корни. На прошлой неделе был я в Шомошбане, на открытии музея природы. И знаешь, что было в первой витрине? Цепь. Обычная ржавая железная цепь. В сорок пятом,

во время земельной реформы, когда землю крестьянам раздавали, этой цепью, за неимением другого, отмеряли наделы безземельным во владениях помещиков Драшалковичей. Остановился я перед этой цепью и заплакал. А ей, этой девчужке парижской из рода Кеменешей, что для нее будет значить та цепь? Если она уже и моему сыну ни о чем не говорит...

А письма идут и туда, и обратно. Раздаются и телефонные звонки. Фери просит прощения: это он виноват — познакомил Яни с дочерью Кеменеша. Они устраивали выставку, и Тибор проектировал дизайн интерьера. (О боже, чего теперь только не умеет делать Тибор?!) На открытие выставки пришли, понятно, и Моника, и Яни. Как только они увидели друг друга...

К чести Тибора нужно сказать, что он делает все, чтобы напугать дочь возможными последствиями этого брака.

— Ты пойми, поедешь в чужую страну, где надо приспособливаться ко всему, быть послушной рабой. Это как если бы девушка решила выйти замуж за африканского племенного вождя: она должна переселиться в хижину из пальмовых веток, там не будет автомобиля, не будет телевизора, зато будет двадцать девять других, первых, жен. Ручной мельницей она мелет пшеницу, стирает в реке набедренную

повязку мужа, дважды в неделю ее бьет свекровь. А если девушка выходит замуж за японца, она должна встречать мужа стоя на коленях и так прислуживать своему повелителю. И не спрашивать его, куда он уходит вечером, а он не только не берет ее с собой, но еще бьет, если она любопытствует. Но это все ерунда в сравнении с тем, что ждет тебя, если ты выйдешь замуж за парня с фамилией Хомок. Он запишет тебя в школу политпросвещения, и ты будешь жить в двухкомнатной квартире вместе со свекром, потому что избранник твой такой сознательный коммунист, что не примет от буржуя-тестя денег на приличную виллу.

— Пусть, — отвечает Моника. — Я все равно выйду за него, потому что я его люблю.

— Не любишь ты его, просто ты еще глупый, неоперившийся цыпленок. Ты помнишь, что случилось с Мариной?

— С какой Мариной?

— Которая была нашей соседкой. Она случайно попала на концерт, где выступал оркестр из Уэльса. Маленькая глупышка влюбилась в барабанщика. Отец, мать — в слезы, умоляли, протестовали — все напрасно: она выйдет замуж только за него. Только за него! И маленькая избалованная француженка попала в Уэльс, в шахтерскую деревушку, где не было ни концертов, ни оперы, но были деревянные неструганые полы, и ей пришлось драить их реч-

ным песком и каждый год рожать шахтеру по ребенку. И в Уэльсе нельзя разводиться. А когда Марина хотела сбежать назад, к мамочке и папочке, свекровь и золовки схватили ее за волосы да избили: «Ты хочешь ослабить нас, что у нас тебе плохо живется?! Что мы тебе есть не даем?!»

— Ужасно, ужасно, — качает головой Моника. — Бедная Марина! Так когда же мы сыграем свадьбу?..

Свадьбу решили сыграть в два приема. Церковное венчание состоялось в Ницце.

«Сынок, ты с ума сошел! Если ты сделаешь это, не смей показываться мне на глаза!» — писал сыну Яни Хомок. «Отец, что я могу поделаться, так пожелала Моника. А распишемся мы в Шомошбана или в Будапеште — где ты пожелаешь». И внизу приписка: «Отчен лублу тебя, милый пап. Твой Моника».

На свадьбе в Ницце, кроме Моника и Яни, были только Фери, Иветта и Тибор с Агнеш. Яни был взволнован, смущен, Моника — очаровательна. Священник, тоже молодой человек, улыбался, Агнеш расплакалась.

Свадебный обед по предложению Тибора заказали в городке Ажей, а точнее, близ Ажея, на самом берегу моря, в маленьком ресторане «Робинзон». Здесь же Тибор сообщил, что дарит молодым двухнедельное свадебное путешествие.

Это был настоящий обед по-французски, с большим количеством рыбы, салатов, фруктами и великолепными красными винами.

Когда подали лангуста, Яни-младший сказал:

— Знаешь, Моника, ты обязательно должна научиться у тети Илоны делать голубцы.

— Научусь, — влюбленно сверкая глазами, обещала Моника.

После обеда Фери и Иветта тотчас же отправились назад, в Париж.

— Ты не передумала? А то, может, придешь к нам на два денечка? — допытывалась Иветта у Агнеш.

— Нет, спасибо. У меня сегодня самолет.

— Ну, тогда... успехов и много-много счастья!

— Можно я отвезу вас в аэропорт в Ниццу? — спросил Тибор.

— Спасибо!

— Здесь, я думаю, мы больше не нужны.

Тибор поцеловал дочь, Агнеш — сына. Затем Агнеш обняла Монику и прижала к себе. И столько было любви, нежности в этом объятии! Агнеш погладила ее по волосам, поцеловала, ей очень хотелось сказать какие-то необыкновенные, ласковые слова...

Они мчатся по извивающемуся серпантину дороги.

Море бьется о скалы, пальмы карабкаются к самому небу, и ослепительно сияет жаркое средиземноморское солнце.

— Может, остановимся на минутку? — спрашивает Агнеш.

Они останавливают машину, карабкаются на утес, садятся рядом и смотрят на раскинувшееся вокруг бесконечное море.

— Мы могли быть счастливы с тобой, — говорит Тибор.

Агнеш смотрит на него с улыбкой.

— Очень своевременное признание.

Море синее, бесконечное. На горизонте — гордый белоснежный корабль. Ветки пальм склонились над их головами.

— Только господь бог может позволить себе такой банальный кинокадр, — говорит Тибор. Но Агнеш беспокойно оглядывается вокруг. Где-то она уже видела этот пейзаж! Маленькая открытка на разъеденной селитрой стене. Бабушка снимает открытку и показывает ей: «Видишь? Это — море. Там живут очень богатые, красивые люди. Они всегда веселые. Играет музыка, и все там очень счастливы».

Так ведь я тоже счастлива, думает Агнеш. То, о чем мечтала, исполнилось. Так много красивого и хорошего. Лечить людей, путешествовать и...

Она жадно глотает соленый воздух, ее глаза впитывают сияние неба и улыбку Тибора. Я спрячу эту открытку. Я сохраню ее, думает она, как в детстве.

— Как подумаю, что у нас будет внук — крошечное, слабое существо в этом жестоком, жалком мире... — говорит Тибор. — Экономический кризис, демографический взрыв, голод, упадок, атомная бомба над головой... А эта малышня женится. Надеюсь, они хоть не будут спешить, не сразу примутся рожать нам внуков. А впрочем, что им еще остается делать, бедняжкам? Ведь другой жизни у них все равно не будет.

Море становится темно-синим. Оно раскачивается, шумит. И до боли в сердце красиво.

Глаза у Агнеш наливаются слезами. Она улыбается сквозь слезы и говорит:

— У них все будет лучше, чем у нас.

| СОДЕРЖАНИЕ

Желтая лихорадка	5
Прощание с морем	103

КЛАРА ФЕХЕР

Желтая лихорадка

ИБ № 5459

Редактор *Т. Я. Горбачева*. Художник *А. Е. Таранин*. Художественный редактор *С. Е. Барабаш*. Технические редакторы *В. П. Пермшова, Г. И. Немтинова*. Корректоры *В. Ф. Пестова, Г. Н. Иванова*. Сдано в набор 15.05.89. Подписано в печать 03.11.89. Формат 70 × 100¹/₃₂. Бумага офсетная. Гарнитура Баскервиль. Печать офсетная. Условн. печ. л. 11,61. Усл. кр.-отт. 23,54. Уч.-изд. л. 9,24. Тираж 50 000 экз. Заказ № 630. Цена 1 р. Изд. № 6518. Издательство «Радуга» В/О «Совэкспорткнига» Государственного комитета СССР по печати. Москва, 119859, Зубовский бульвар, 17. Можайский полиграфкомбинат В/О «Совэкспорткнига» Государственного комитета СССР по печати. 143200, Можайск, ул. Мира, 93.

